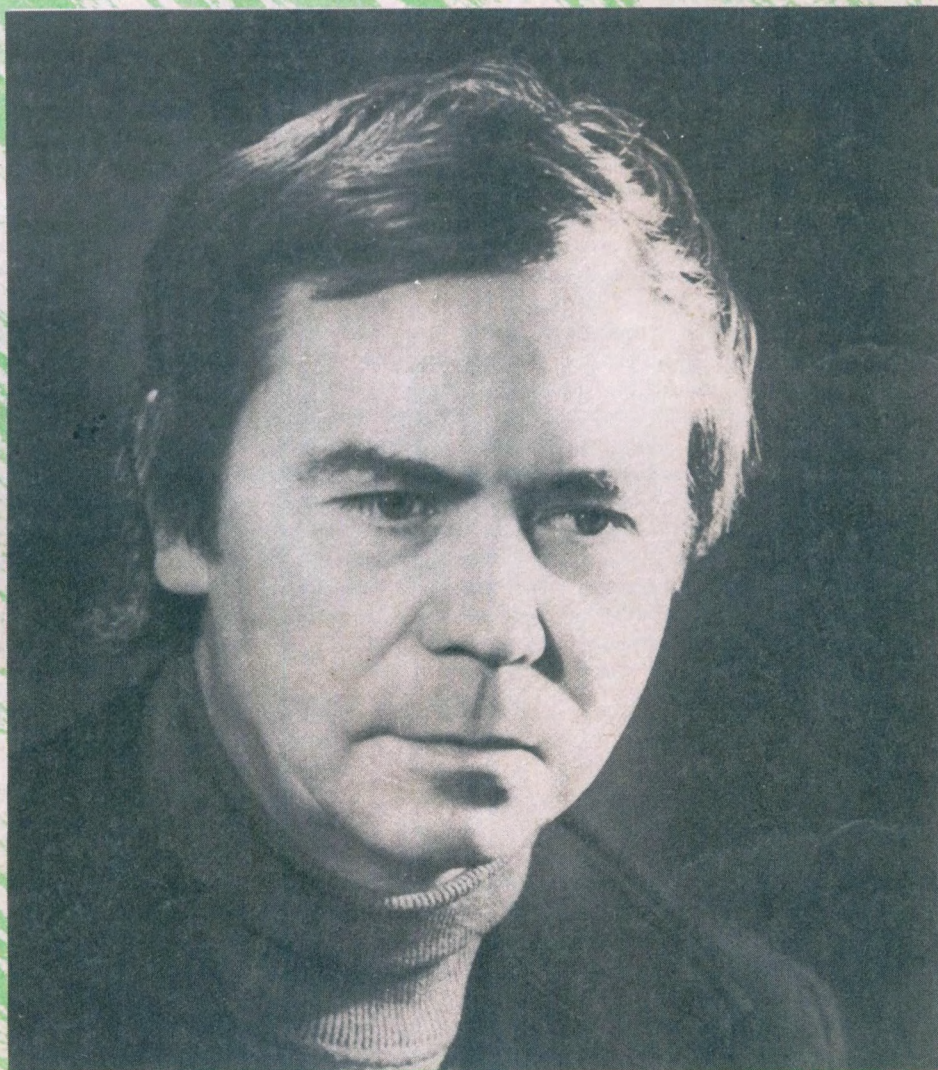


№17(999) · 1984

**РОМАН-
ГАЗЕТА**

ISSN 0131-6044



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году в селе Усть-Уда Иркутской области. Печататься начал с 1961 года, опубликовав в альманахе «Ангара» рассказ «Я забыл спросить у Лешки...».

После окончания историко-филологического факультета Иркутского университета несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска. Выполняя задания редакций, Валентин Распутин часто бывал на строительстве Красноярской ГЭС и железнодорожной магистрали Абакан — Тайшет. Очерки и рассказы, написанные после этих командировок, вошли в сборники «Костровые новых городов» и «Край возле самого неба».

На совещании молодых писателей в Чите в 1965 году рассказы Валентина Распутина получили высокую оценку и были вскоре изданы отдельной книгой под названием «Человек с этого света».

После публикации в «Сибирских огнях» повести «Деньги для Марии» (1967) стало ясно, что в литературу пришел художник со своей темой и своими героями. Но в полную силу талант Валентина Распутина раскрылся в повести «Последний срок» (1970). Психологическое мастерство, чуткость к оттенкам народной речи, яркость образов — все это свидетельствовало о зрелости и самобытности таланта писателя.

В основу повести «Живи и помни» (1974) положена суровая, но справедливая мысль: изменив своему гражданскому долгу, человек не только гибнет сам, но и несет гибель своим близким.

О повести «Прощание с Матёрой» (1976) Валентин Распутин говорил, что «она о тех изменениях, которые происходят в сегодняшней Сибири, об изменениях, на которые я смотрю глазами не постороннего человека, приехавшего покорять, так сказать, преобразовывать этот суровый и дивный край, а глазами коренного сибиряка, в этом краю живущего и любящего его истинной любовью, думающего о нем не только как о строительной площадке, но и как о родине, о земле, на которой жили его предки и станут жить его дети и внуки».

Валентин Распутин — лауреат Государственной премии СССР.

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАН В 1927 г.

№17(999)
1984ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке... Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с ма-

мой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая

как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, посещение продолжилось. Прошло три дня — и вдруг бабушке приносит телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, деги одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале, и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся вперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке... кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многие для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работой. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь

сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читанная-перечитанная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью, и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрнула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неясный, но значительный смысл.

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой

и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и отвечал:

— Ты корову теткой не зовешь?

— Зачем?

— То-то и оно... зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там... Не подавайся.

— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

— Митяй. Так и зовут. Хоть — спроси у моей мамы, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола», — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. — Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хуже, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, — до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-то, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня

не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толчение и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей — только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних походов Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужичьего шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначен-

ный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдешь, там останешься, — сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман. — Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главное, потеплей бери на ночь.

Саня ахнул и нсвольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной — много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взрывались оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задира л стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за спины, за спины...

— Куда? — весело закричал ему вслед Митяй. — Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного это

утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати — шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги — и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще, Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

— А горбовик отцов где?

— Он большой сильно.

— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главное, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втокнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело поглядывал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с мужиком со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единственный мог решать, что ему делать дальше.

— Ну, орда, ну, орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелились. — Держись, тайга!

— Что-то уж сильно много, — озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел. — Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрут. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники серьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки; маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке

оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в поселке перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой — по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное — по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескаться друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душиком, с лагушком, шла бойкая и беспрепятственная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне — и куда все это подевалось?!

«Как в другой жизни было», — говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала — на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой,

теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелее и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых орехов поочередно.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбик — из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо — будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хвояев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народа, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полно и

яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: «смертный ужас рождения». «Как, как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью — бездна». Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся... Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубинное чутье и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только, выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

— А я тебя гляжу, гляжу... Уж думал, остался... Или проспал.

— Под самый конец залез. Едва протолкался, — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубаше сидел рядом с Митяем и, готовясь к сдвигу, выуживал из раскрытого горбовника помидоры.

— Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? — не глядя на Саню, спросил он.

— С нами.

— Ты не говорил.

— Ну и что? Когда бы я сказал?

— Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снаряжился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задраенными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

— Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.

— Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встреч ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых klokотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой маломальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упиравшись, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию; то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в гу-

стой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра — тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинувшись движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирали Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной хвое; пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил неодобрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку — кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо, — казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подвисстом. Саня не решался обходить его, они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устали.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью... Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

— Ты что это?.. Ты куда нас? — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

— Перекур! — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно

довольный тем, что он может им показать. — Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг... Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с не облетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, — больше всего это были ели и кедры, — обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.

— Смерч, — сказал Митяй.

— Какой смерч?

— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли — все нормально. А осенью я по орех... Может, главное, первый и увидел. Ты пойдй погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы деревья.

— Этак и убить могло, — угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся, Сане послышалось — не без злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, — не остался в долгу дядя Володя.

— А новичков-то и хлещет. Их-то, главное, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

— Из-за кого? — вскинулся дядя Володя. — Что ты мелешь?!

— Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Иванович, что Леха, что ты... Будто свой огород... захочу — пушу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примнительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слышал звон, да не понял, где он. Леха — аккуратный мужик, он

порядок любит. А каждого в тайгу пускать — это на раздор только, се и так разорили.

— Я рядом с тобой живу — почему я каждый?

— Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя, — вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их на сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами — куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло — ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спohхвотившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и сосупающую вправо каменистым серпантинном, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба, — за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и вниз, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

— Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтением усаживаясь на камень, не отозвался.

— Вот это да-а! — ахнул Саня, подошедший последним.

— От и до, Санск, а?! — крикнул ему Митяй. — Запоминай — во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

— Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь?

«Не может быть, — не однажды размышлял Саня, — чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира — и вдруг, как перекати-поле, на открытую дорогу — куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильней обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия, жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогулками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок — порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накинанные ветром, словно приговорены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке —

потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволял:

— Ладно, полчаса на отлежку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и смягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекасть какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нарочком и ненарочком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения — все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнувшись, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

— Кончай ночевать, мужики, — негромко сказал он, позевывая и внимательно всматриваясь в небо. — Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

— Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтوب, glavно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. — А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боньшься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая — хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санек, почали, — возбужденно повторил Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как

голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, аросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удастся такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломаются от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и резко подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством — смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, — наговаривал он, — что я возьму тебя... я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь — так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, — Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, — и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет... — И грубым, бестактным казалось называть себя — то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал. — ...и маленькая девочка по имени Катя... она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей... не обижайся, пожалуйста».

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени,

с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то — посторонний звук или неосторожное движение — приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неогороженную меру.

Нет, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и беспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костер, сопровивавшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и при-

нимающийся время от времени для остротки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо, Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорают и опадают щепы, обнажая источенные ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла испочинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмуша, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню — настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться... Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя — почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, — кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильнее — и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всемогущее, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас... И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то

особенной полноты и конечной исполненности он под-
нялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся — дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяю и испуганно шептал:

— Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

— Кто ходит... Медведь, наверно, ходит,— недобро-
вольно отвечал Митяй. — Кому тут еще ходить?!

— Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал поджиглять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его — или он окончательно не проснулся, или действовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяю, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

— Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главное, медведи без спросу приперлись, на твою территорию,— тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце — не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-
здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая под-
таивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрыв-
чато, звездчато взблескивали там на кустах яркими вспышками погигающие капли воды. И куда все так скоро ушло — и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи — нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и пригото-
вить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед — перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володей, над его ночным бдением. Дядя Володя по

обыкновению отмалчивался, но на этот раз с види-
мой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг — и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о зем-
лю последние крупные капли дождя; и то, как уми-
ротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурма-
няще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дур-
ноголоса, напугав их, закричала над головами ке-
дровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся — пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, — ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непростую ее силу, только окунул-
ся он опять в ее живую и радостную россыпь — руки заработали сами собой, и удержать их было уже не-
возможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба — стоило Сане на секунду под-
нять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, расте-
калась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыс-
кать ее — по-прежнему ясную, крупную, отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой... Ведро было полнехонько, а он только разо-
охотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпичей, которую он для этой надобности и прихватил с со-
бой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он нето-
ропливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул — так хо-
рошо было, так светло и покойно и в себе и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал — этого, например, нечеловечески силь-
ного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его не-
объяснимую красоту и страсть, всю обманчиво со-
шедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему... он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, спустившись к реч-
ке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого,

мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать — и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягodu, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важнее, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» — как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствах, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же не достало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, главного среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой, усыпленной, замороженной и отрывистой

мыслью-думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я... в одно время и здесь...»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный «трон», откуда волнами уплывали в дали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье — от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно — он это видел!

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем — то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, — то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглула выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна, свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины — без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал прятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володи — пластом, мало что и видя и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

— Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

— Теперь твоя очередь.

— Вон парень сходит,— прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое, жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимися прижимающимися вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Вани и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось — по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

— Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? — вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

— Не знаю,— пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. — Сварю, наверно, половину... половину истолку.

— Нельзя ее варить,— решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: — И есть ее нельзя.

— Почему?

— Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Са-

ниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел — ведро действительно оцинкованное.

— Ты, гад!.. — оборачиваясь к дяде Болоде, начал он. — Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?.. — Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. — Ведь ты же видал, ты знал, ты, главное, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести — ну, не гад ли, а? Я тебя!..

— Только троны! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

— Да видал! Видал! — завопил он. — Знал! Но у меня, главное, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

— Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попало ведро с открытой ягодой, — решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымакнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

— Митяй, ты что?! — вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня. — Зачем ты, Митяй?! Зачем?!

— Нельзя, Саня, — торопливо и испуганно забормotal Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой. — Нельзя. Она, главное, за ночь сок дала... сам отравишься в других... никак нельзя в оцинкованное... Ну, идиот я, ну, идиот. От и до. Ходи с таким идиотом...

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзачок, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застегжки.

— Теперь, дяденка Володечка, ходи и оглядывайся, — неожиданно спокойно сказал Митяй. — Такое гадство в тайгу нести... мало тебе поселка?!

— Сядешь, — так же спокойно ответил дядя Володя. — Сидел и еще сядешь.

— А я об тебя руки марать не буду, — уверенно и как дело решенное заявил Митяй. — На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят... ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

...Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у Меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часом взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В ту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, сияющая вечерующего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить это-

го: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливали друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщепеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробы и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может

быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры: здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не-этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщаь и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, при молкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать об-
ратно,

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательное решение: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозревал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего бы между нами не случилось.

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно,

удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострадай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого куда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подавала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я был бы прощен, и ворога. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминая да вспоминая во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нами детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своим отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведрком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до

заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли нашего рейса, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взгляды, ваяя сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрыгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно потирапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнал многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молотом месяца огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряя времени даром: все они были распьяненьки. Шофер проворно выно-

сил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что

не тому, она досталась: то поймашь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшись и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что, могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забиться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее

движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из ко-

торого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу расстроиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзаки, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посापывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благодостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещающая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навывдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощущая и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса

и/ до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная, во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаюсь запахнуть в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... И теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желанья, спуститься ли к воде, или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, и гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполюшив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой сщы и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилося низкое, склоненное широкоим краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготавливаемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную полянку, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной

ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь суходымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянуло и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем, в движении, — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволятся. Знай сверчок свой шесток.

Я тшился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаваясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я несколько этого зрению не удивился, точно так и должно было

быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видеть, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замсев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелеел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как мигает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком, бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавливалось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не замстаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

Первая встреча состоялась в трамвае. Она тронула его за плечо и, когда он открыл глаза, сказала, показывая на окно:

— Вам сходить.

Трамвай уже остановился, и он, проталкиваясь, прыгнул сразу за ней. Она была совсем девчонка, лет пятнадцати — шестнадцати, не больше, он понял это тут же, увидев ее круглое, моргающее лицо, которое она повернула к нему, ожидая благодарности.

— Спасибо, — сказал он, — я ведь мог проехать.

Он почувствовал, что ей этого недостаточно, и добавил:

— Сегодня был сумасшедший день, я устал. А в восемь мне должны позвонить. Так что ты меня здорово выручила.

Кажется, она обрадовалась, и они вместе побежали через дорогу, оглядываясь на мчащуюся машину. Шел снег, и он заметил, что на ветровом стекле машины работал «дворник». Когда идет снег — вот такой мягкий, пушистый, словно где-то там, наверху, теребят диковинных снежных птиц, — не очень-то хочется идти домой. «Подожду звонка и снова выйду», — решил он, оборачиваясь к ней и размышляя, что бы ей сказать, потому что дальше молчать было уже неудобно. Но он понятия не имел, о чем можно с ней говорить и о чем нельзя, и все еще раздумывая, когда она сама сказала:

— А я вас знаю.

— Вот как! — удивился он. — Это каким же образом?

— А вы живете в сто двенадцатом, а я в сто четырнадцатом. В среднем два раза в неделю мы вместе ездим в трамвае. Только вы, конечно, меня не замечаете.

— Это интересно.

— А что тут интересного? Ничего интересного нету. Вы, взрослые, обращаете внимание только на взрослых, вы все ужасные эгоисты. Скажете, нет?

Она повернула голову вправо и смотрела на него слева, снизу вверх. Он хмыкнул только и не стал ничего ей отвечать, потому что все еще не знал, как вести себя с ней, что можно и что нельзя ей говорить.

Некоторое время они шли молча, и она глядела прямо перед собой и, так же глядя прямо перед собой, как ни в чем не бывало заявила:

— А вы ведь еще не сказали, как вас зовут.

— А тебе это необходимо знать?

— Да. А что особенного? Почему-то некоторые считают, что если я хочу знать, как зовут человека, то обязательно проявляю к нему нездоровый интерес.

— Ладно, — сказал он, — я все понял. Если тебе это необходимо — меня зовут Рудольф.

— Как?

— Рудольф.

— Рудольф. — Она засмеялась.

— Что такое?

Она засмеялась еще громче, и он, приостановившись, стал смотреть на нее.

— Ру-дольф, — она округлила губы и снова закатилась. — Ру-дольф. Я думала, что так только слона в зверинце могут звать.

— Что?!

— Ты не сердись, — она тронула за рукав. — Но смешно, честное слово, смешно. Ну что я могу поделать?

— Девчонка ты, — обиделся он.

— Конечно, девчонка. А ты взрослый.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А мне двадцать восемь.

— Я же говорю: ты взрослый, и тебя зовут Рудольф.

Она снова засмеялась, весело поглядывая на него слева, снизу вверх.

— А тебя как зовут? — спросил он.

— Меня? Ни за что не угадаешь.

— А я и не буду гадать.

— А если бы и стал — не угадал бы. Меня зовут Ио.

— Как?

— Ио.

— Ничего не пойму.

— Ио. Ну, исполняющий обязанности. Ио.

Отмщение наступило моментально. Не в силах остановиться, он хохотал, раскачиваясь то вперед, то назад, как колокол. Достаточно было ему взглянуть на нее, и смех начинал разбирать его все больше и больше.

— И-о, — булькало у него в горле. — И-о.

Она ждала, оглядываясь по сторонам, потом, когда он немного успокоился, обиженно сказала:

— Смешно, да? Ничего смешного. Ио — такое же обыкновенное имя, как все другие.

— Ты извини, — улыбаясь, он наклонился к ней. — Но мне действительно было смешно. Вот теперь мы квиты, правда?

Она кивнула.

Первым был ее дом, а за ним — его. Остановившись у подъезда, она спросила:

— А какой у тебя телефон?

— Тебе это не надо, — сказал он.

— Боишься?

— Дело не в этом.

— Взрослые всего на свете боятся.

— Это верно, — согласился он.

Она вынула из рукавицы свою ручонку и подала ему. Рука была холодной и тихой. Он пожал ее.

— Ну, беги домой, Ио.

Он опять засмеялся.

У двери она остановилась.

— А теперь ты меня узнаешь в трамвае?

— Еще бы, конечно, узнаю.

— До трамвая... — Она подняла над головой руку.

— ...в котором мы вместе поедем, — добавил он.

Через два дня он уехал в командировку на север и вернулся только через две недели. Здесь, в городе, уже чувствовался пряный, острый запах наступающей весны, сдувшей с него, словно пепел, зимнюю неясность и неотчетливость. После северных туманов все здесь было ярче и звонче, даже трамваи.

Дома жена чуть ли не сразу же сказала ему:

— Тут тебе каждый день какая-то девчонка звонит.

— Какая еще девонка? — равнодушно и устало спросил он.

— Не знаю. Я думала, ты знаешь.

— Не знаю.

— Она мне надоела.

— Забавно, — нехотя улыбнулся он.

Он принимал ванну, когда зазвонил телефон. Через дверь было слышно, как жена отвечала: приехал, моется, пожалуйста, попозже. И он уже собирался ложиться, когда телефон зазвонил снова.

— Да, — сказал он.

— Рудик, здравствуй, ты приехал! — раздался в трубке чей-то радостный голос.

— Здравствуйте, — осторожно ответил он. — Кто это?

— А ты не узнал? Эх ты, Рудик... Это я, Ио.

— Ио, — тотчас вспомнил он и невольно рассмеялся. — Здравствуй, Ио. Ты, оказывается, подобрала для меня более подходящее имя.

— Да. Тебе нравится?

— Меня так звали, когда мне было столько же, сколько сейчас тебе.

— Не важничай, пожалуйста.

— Нет, что ты...

Они замолчали, и он, не выдержав, спросил:

— Так в чем дело, Ио?

— Рудик, она что — твоя жена?

— Да.

— А почему ты не сказал мне, что женат?

— Прости меня, — шутливо ответил он, — я не знал, что это очень важно.

— Конечно, важно. Ты что — любишь ее?

— Да, — сказал он. — Ио, послушай, пожалуйста: не надо мне больше звонить.

— Ис-пу-гал-ся, — нараспев произнесла она. — Ты, Рудик, не подумай чего. Ты, конечно, живи с ней, если хочешь, я не против. Только так тоже нельзя: не звони. А может, мне по делу надо будет.

— По какому делу? — улыбаясь, спросил он.

— Ну как по какому? Ну... ну, например, из одного резервуара у меня вода никак под ответ не выкачивается в другой, — нашла она. — Ведь тогда можно, правда?

— Не знаю.

— Конечно, можно. А ее ты не бойся, Рудик, ведь нас двое, а она одна.

— Кого? — не понял он.

— Да жену твою.

— До свидания, Ио.

— Ты устал, да?

— Да.

— Ну, хорошо. Пожми мне лапу и ложись спать.

— Жму тебе лапу.

— А с ней даже не разговаривай.

— Ладно, — он засмеялся. — Не буду.

Все еще улыбаясь, он вернулся к жене.

— Это Ио, — сказал он. — Так зовут эту девчонку. Забавно, правда?

— Да, — выжидающе ответила она.

— Она не могла решить задачу с двумя резервуарами. Она учится не то в седьмом, не то в восьмом классе — не помню.

— И ты помог ей с задачей?

— Нет, — сказал он. — Я все перезабыл, а резервуары — это действительно сложно.

Утром телефон зазвонил чуть свет. Какой там свет — никакого света не было, весь город спал последним пред рассветным сном. Поднимаясь, Рудольф взглянул на дом напротив — ни одно окно еще не было освещено, и только подъезды, как губные гармошки, сияющие металлом, светились четырьмя правильными рядами. Телефон трезвонил беспрерывно. Подходя к нему, Рудольф взглянул на часы: половина шестого.

— Слушаю, — сердито сказал он в трубку.

— Рудик, Рудик...

Он рассвирепел:

— Ио, ведь это же черт знает что такое...

— Рудик, — перебили его, — послушай, не сердись, ты еще не знаешь, что случилось.

— Что случилось? — остывая, спросил он.

— Рудик, ты уже больше не Рудик, ты Рудольфио, — торжественно объявили ему. — Рудольфио! Здорово, правда? Это я только что придумала. Рудольф и Ио — вместе получается Рудольфио, как у итальянцев. Ну-ка повтори.

— Рудольфио. — В его голосе смешались отчаяние и ярость.

— Правильно. Теперь у нас с тобой одно имя — мы нерасторжимы. Как Ромео и Джульетта. Ты Рудольфио, и я Рудольфио.

— Послушай, — приходя в себя, сказал он. — Ты бы не могла в другой раз нарекать меня в более подходящее время?

— Ну как ты не поймешь, что я не могла ждать. Вот. А потом, тебе пора вставать. Рудольфио, запомни: в половине восьмого я жду тебя на трамвайной остановке.

— Я сегодня не поеду на трамвае.

— Почему?

— У меня отгул.

— А что это такое?

— Отгул — это внеочередной выходной, я не пойду на работу.

— А-а, — сказала она. — А как же я?

— Не знаю. Поезжай в школу, и все.

— А у твоей жены тоже отгул?

— Нет.

— Ну, это еще ничего. Только ты не забывай: нас теперь зовут Рудольфио.

— Я счастлив.

Он водворил трубку на место и, чертыхаясь, пошел кипятить чай. Уснуть теперь все равно он бы не смог. К тому же в доме напротив уже светились три окна.

В полдень в дверь постучали. Он как раз мыл полы и, открывая, держал в руках мокрую тряпку, которую почему-то не догадался оставить где-нибудь по дороге.

Это была она.

— Здравствуй, Рудольфио.

— Ты! — удивился он. — Что случилось?

— Я тоже взяла отгул.

Лицо как у святой — ни единой капли того, что называют угрызениями совести.

— Вон как! — мужественно ответил он. — Гуляешь, значит. Ну, проходи, кояи пришла. Я сейчас до-мою.

Не раздеваясь, она села в кресло возле окна и стала смотреть, как он, склонившись, водит тряпкой по полу.

— Рудольфио, по-моему, ты несчастлив в семейной жизни, — заявила она через минуту.

Он выпрямился.

— С чего ты взяла?

— Это очень легко увидеть. Например, ты без всякого удовольствия моешь пол, а у счастливых так не бывает.

— Не выдумывай, — улыбаясь, сказал он.

— А скажешь, счастлив?

— Ничего не скажу.

— Ну вот.

— Ты лучше раздешься.

— Я тебя боюсь, — заглядывая в окно, сказала она.

— Что-что?

— Ну, ты же мужчина.

— Ах вон что. — Он засмеялся. — Как же ты осмелилась сюда прийти?

— Ну, мы же с тобой Рудольфио.

— Да, — сказал он, — я все забываю об этом. Это, конечно, накладывает на меня определенные обязанности.

— Конечно.

Она замолчала и, пока он гремел ведром в кухне, сидела тихо. Но когда он вышел к ней, пальто уже висело на спинке кресла, а лицо Ио было задумчивое и печальное.

— Рудольфио, а я сегодня плакала, — вдруг призналась она.

— Отчего, Ио?

— Не Ио, а Рудольфио.

— Отчего, Рудольфио?

— Это из-за моей старшей сестры. Она устроила скандал, когда я решила взять отгул.

— По-моему, она права.

— Нет, Рудольфио, не права. — Она поднялась с кресла и стала возле окна. — Один раз можно, как вы не поймете. Я сейчас знаешь какая счастливая, что с тобой говорю...

Она опять замолчала, и он внимательно посмотрел на нее. Сквозь платье, волнуясь, у нее пробивались груди, как два маленьких гнездышка, которые лепят неведомые птицы, чтобы выводить в них птенцов. Он заметил, что уже через год лицо у нее удлинится и станет красивым, и ему стало грустно от мысли, что со временем будет и у нее свой парень. Он подошел к ней, взял ее за плечи и, улынувшись, сказал:

— Все будет хорошо.

— Правда, Рудольфио?

— Правда.

— Я тебе верю, — сказала она.

— Да.

Он хотел отойти, но она позвала:

— Рудольфио!

— Да.

— Зачем ты так рано женился? Ведь еще бы два года, и я бы вышла за тебя замуж.

— Не торопись, — сказал он. — Ты и так выйдешь замуж за какого-нибудь очень хорошего парня.

— Я бы хотела за тебя.

— Он будет лучше, чем я.

— Ну да, — недоверчиво протянула она. — Ты думаешь, лучше бывают?

— В тысячу раз лучше бывают.

— Но это будешь не ты. — Она неумело вздохнула.

— Давай лучше пить чай, — предложил он.

— Давай.

Он пошел на кухню и поставил чайник на плитку.

— Рудольфио!

Она стояла возле полок с книгами.

— Рудольфио, у нас с тобой самое красивое имя. Вот посмотри, даже у писателей нет лучше. — Она на мгновение умолкла. — Может быть, только вот у этого. Эк-зю-пе-ри. Правда, красивое?

— Да, — сказал он. — А ты не читала его?

— Нет.

— Возьми и почитай. Только без отгулов — договорились?

— Договорились.

Она стала одеваться.

— А чай? — вспомнил он.

— Рудольфио, я лучше пойду, хорошо? — Улыбка у нее стала грустной. — Ты только не говори жене, что я здесь была. Хорошо, Рудольфио?

— Ладно, — пообещал он.

Когда она ушла, он почувствовал, что ему стало тоскливо, он был полон какой-то необъяснимой, еще не открытой тоски, тем не менее существующей в природе. Он оделся и вышел на улицу.

Весна наступила как-то сразу, почти без предупреждения. Люди за несколько дней стали добрее, и эти несколько дней казались им переходным периодом от поры ожидания к поре свершения, потому что весенние сны с мастерством опытной гадалки напро-рочили им счастье и любовь.

В один из таких дней, уже вечером, когда Рудольф возвращался домой, его остановила пожилая женщина.

— Я мать Ио,— начала она.— Вы простите, вас, кажется, зовут Рудольфио.

— Да,— улыбнувшись, согласился он.

— Я знаю о вас от дочери. В последнее время она много говорит о вас, но я...

Она замаялась, и он понял, что ей трудно спросить то, что необходимо было спросить как матери.

— Вы не волнуйтесь,— сказал он.— У нас с Ио самая хорошая дружба, и ничего плохого от этого не будет.

— Конечно, конечно,— смущаясь, заторопилась она.— Но Ио — взбалмошная девчонка, она нас совсем не слушает. И если вы повлияете на нее... Понимаете, я боюсь, возраст такой, что надо бояться,— она может натворить глупостей. И потом, меня пугает, что у нее совсем нет друзей среди одноклассниц и вообще среди сверстников.

— Это плохо.

— Я понимаю. Мне показалось, вы имеете на нее влияние...

— Я поговорю с ней,— пообещал он.— Но, по моему, Ио хорошая девочка, зря вы так беспокоитесь.

— Не знаю.

— До свиданья. Я поговорю с ней. Все будет хорошо.

Он решил позвонить ей сразу же, не откладывая, тем более что жены дома не было.

— Рудольфио! — было видно, что она очень обрадовалась. — Какой же ты молодец, что позвонил, Рудольфио, а я опять плакала.

— Нельзя так часто плакать,— сказал он.

— Это все «Маленький принц». Мне его жалко. Ведь правда, он был у нас на земле?

— По-моему, правда.

— И по-моему, тоже. А мы не знали. Ведь это же ужасно. И если бы не Экзюпери, никогда бы не узнали. Не зря у него такое же красивое имя, как и у нас.

— Да.

— Я еще вот о чем думаю: хорошо, что он так и остался Маленьким принцем. Потому что страшно: а вдруг потом он стал бы самым обыкновенным? А у нас и так слишком много обыкновенных.

— Не знаю.

— Зато я знаю, это точно.

— А «Планету людей» ты прочитала?

— Я все прочитала, Рудольфио. По-моему, Экзюпери очень мудрый писатель. Даже страшно становится, до чего мудрый. И добрый. Помнишь: Барка выкупают на свободу, дают ему деньги, а он тратит их на туфельки для ребятшек и остается ни с чем.

— Да,— сказал он.— А помнишь Боннафуса, который разорвал и грабил арабов, а они его ненавидели и в то же время любили?

— Потому что без него пустыня казалась бы им

самой обыкновенной, а он делал ее опасной и романтичной.

— Ты молодчина, если все это понимаешь,— сказал он.

— Рудольфио... — она замолчала.

— Я слушаю,— напомнил он.

Она молчала.

— Рудольфио,— отчего-то волнуясь, сказал он.— Приходи сейчас ко мне, я один.

Оглядываясь, она прошла к креслу и села.

— Ты чего такая тихая? — спросил он.

— Ее правда нет?

— Жены?

— Ну да.

— Нет.

— Мымра она у тебя.

— Что?

— Мымра — вот что!

— Где ты взяла это слово?

— В великом русском языке. Там для нее ничего более подходящего нет.

— Ио, ну нельзя же так.

— Не Ио, а Рудольфио.

— Ах, да.

— Я недавно позвонила и попала на нее. Знаешь, что она мне сказала? Если, говорит, ты насчет резервуаров, то лучше обратись к учителю. По-моему, она ревнует тебя ко мне.

— Не думаю.

— Рудольфио, а правда, я лучше ее? Я ведь еще не оформилась как следует, у меня все впереди.

Он улыбнулся и кивнул.

— Вот видишь. По-моему, тебе пора с ней развестись.

— Не говори глупости,— оборвал он ее.— Я тебе слишком многое позволяю.

— Из любви, да?

— Нет, из дружбы.

Она, насупившись, умолкла, но было видно, что это ненадолго.

— Как ее зовут?

— Кого — жену?

— Ну да.

— Клава.

— Ничего себе нагрузочка.

Он рассердился:

— Перестань.

Она поднялась, на мгновение закрыла глаза и вдруг сказала:

— Рудольфио, я ненормальная, прости меня, я не хотела...

— Только не реветь,— предупредил он.

— Не буду.

Она отошла и отвернулась к окну.

— Рудольфио,— сказала она,— давай договоримся так: я у тебя сегодня не была и ничего этого не говорила, хорошо?

— Да.

— Считай, что это «до свиданья» я тебе сказала по телефону.

— Да.

Она ушла.

Через пять минут зазвонил телефон.

— До свиданья, Рудольфио.

— До свиданья.

Он подождал, но она положила трубку.

Она уже больше не звонила, и он ее долго не видел, потому что опять уезжал и вернулся только в мае, когда на солнечных весах лето окончательно перевесило весну. В это время у него всегда было много работы; вспоминая о ней, он все откладывал: поговорю завтра, послезавтра, но так и не поговорил.

Они встретились случайно — наконец-то в трамвае. Он увидел ее и стал нетерпеливо проталкиваться, боясь, что она сойдет, — ведь она могла сойти и на другой остановке, а он бы, наверное, не решился прыгнуть вслед за ней. Но она осталась, и он поймал себя на том, что обрадовался этому больше, чем следовало, наверное, при их дружеских отношениях.

— Здравствуй, Ио, — касаясь рукой ее плеча, сказал он.

Она испуганно обернулась, увидела его и, радостно замешкавшись, кивнула.

— Не Ио, а Рудольфио, — как и раньше, поправила она. — Мы ведь с тобой все еще друзья, правда?

— Конечно, Рудольфио.

— Ты уезжал?

— Да.

— Я однажды звонила, тебя не было.

— Я уже целую неделю здесь.

Народу в трамвае было много, и их беспрерывно толкали. Пришлось встать совсем близко друг к другу, и ее голова касалась его подбородка, а когда она поднимала лицо и он, прислушиваясь, наклонился, приходилось отводить глаза — настолько это было рядом.

— Рудольфио, хочешь, я тебе что-то скажу? — спросила она.

— Конечно, хочу.

Она опять подняла лицо, совсем близко к его лицу, так что ему захотелось зажмуриться.

— Я все время скучаю без тебя, Рудольфио.

— Глупышка ты, — сказал он.

— Я знаю. — Она вздохнула. — Но ведь не скучаю же я по всяким мальчишкам, они мне сто лет не нужны.

Трамвай остановился, и они сошли.

— Ты пойдешь к своей Клавье? — спросила она.

— Нет, давай погуляем.

Они свернули к реке, туда, где начинался пустырь, и шли без дорожки, перепрыгивая через кочки и кучи мусора, и он взял ее за руку, помогая перебираться через завалы.

Она молчала. Это было непохоже на нее, но она молчала, и он чувствовал, что она, как и он, тоже полна волнения — сильного, гудящего и ничему не подвластного.

Они вышли к яру и, все еще держась за руки, смотрели на реку, и куда-то за реку, и снова на реку.

— Рудольфио, — не выдержав, сказала она. — Меня еще ни разу никто не целовал.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку.

— В губы, — попросила она.

— В губы целуют только самых близких людей, — мучаясь, выдавил он.

— А я?

Она вздрогнула, и он испугался. В следующее мгновение он вдруг понял — не почувствовал, а именно понял, — что она ударила его, закатила самую настоящую пощечину и бросилась бежать, снова туда — через пустырь, через кочки, через волнение и ожидание.

А он стоял и смотрел, как она бежит, и не смел даже окликнуть ее, не смел броситься за ней и догнать. Он еще долго стоял — опустошенный, ненавидящий себя.

Это случилось в субботу, а в воскресенье рано утром ему позвонила ее мать.

— Рудольфио, простите, пожалуйста, я, наверное, подняла вас...

Голос у нее был сбивчивый, дрожащий.

— Я слушаю, — сказал он.

— Рудольфио, Ио сегодня не ночевала дома.

Ему надо было что-нибудь ответить, но он молчал.

— Мы в отчаянии, мы не знаем, что делать, что предпринять, это впервые...

— Сначала успокойтесь, — сказал наконец он. — Может быть, она заночевала у подруги.

— Не знаю.

— Скорей всего так оно и есть. Если часа через два не придет, будем искать. Только успокойтесь, через два часа я позвоню вам.

Он опустил трубку, подумал и сказал сам себе: ты тоже успокойся, может быть, она заночевала у подруги. Но успокоиться он не мог, наоборот, он почувствовал, что его начинает бить нервная дрожь. Чтобы унять ее, он пошел в чулан и, насвистывая, стал рыться в своих старых, еще школьных учебниках. Задачник по алгебре где-то запропастился, и, отыскивая его, он немножко отвлекся.

Телефон, притаившись, молчал. Рудольф закрыл за собой на кухне дверь и стал листать учебник. Вот она: если из одного резервуара в течение двух часов перекачивать воду в другой резервуар...

Зазвонил телефон.

— Она пришла. — Не сдержавшись, мать заплакала.

Он стоял и слушал.

— Рудольфио, придите, пожалуйста, к нам.

Она опять заплакала и уж потом добавила:

— С ней что-то случилось.

Не спрашивая разрешения, он снял плащ, и мать молча показала ему рукой на дверь ее комнаты.

Ио сидела на кровати, поджав под себя ноги, и, раскачиваясь, смотрела прямо перед собой в окно.

— Рудольфио! — позвал он.

Она обернулась к нему и ничего не сказала.

— Рудольфио!

— Перестань, — брезгливо сморщилась она. — Какой ты Рудольфио, ты самый обыкновенный Рудольф. Самый обыкновенный Рудольф, понимаешь?

Удар был настолько сильным, что боль сразу охватила все тело, но он заставил себя остаться, он подошел к окну и оперся на подоконник.

Она все раскачивалась взад и вперед и все смот-

рела перед собой, мимо него, и тихо скрипели под ней пружины кровати.

— Ну хорошо, — соглашаясь с ней, сказал он. — Но объясни, где ты была?

— Иди ты к черту! — не оборачиваясь, устало ответила она.

Он кивнул. Потом снял с вешалки свой плащ, и, не отвечая на молчаливые вопросы ее матери, спустился с лестницы и пошел к черту. Воскресенье только еще начиналось, прохожих на улице было мало, и никто его не остановил. Он перешел через пустырь, спустился к берегу и вдруг подумал: а куда же дальше?

ВНИЗ И ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ

Слава богу, все кончилось. Кончилась эта бестолковая и изнурительная беготня по магазинам, когда и сам не знаешь, что ищешь, лишь бы что-нибудь купить, не забыть никого подарком и не обделить гостинцем; это торопливое сваливание с себя всяких разных дел, больших и маленьких, скопившихся, как всегда, на последний день, и надо срочно бежать туда и сюда, поговорить с тем и с этим, взять одно и отдать другое; эти суматошные, с постоянной оглядкой — не забыть бы что-нибудь — сборы. Кончилось все разом, как обрубило, едва лишь Виктор вошел в каюту и поставил чемодан, и теперь впереди предстояло одно легкое и приятное безделье, заранее волнуемое своей праздничностью и свободой.

Погода для мая выдалась на удивление жаркой, весь день пекло, а теперь, перед вечером, жара еще более сгустилась, потяжелела. В каюте к тому же пахло краской, воздух был затхлый и горький. Виктор тут же, как вошел, до конца, до упора опустил раму стекла в окне и высунулся наружу. Его обдало теплым и слабым, но все же ветерком, от воды едва уловимо потянуло свежестью. До пяти часов, до отплытия, оставалось еще минут пятнадцать; посадка продолжалась, слышно было, как по сходням идут люди, но уже во всем чувствовалось близкое освобождение, уже начала подрагивать в нетерпении массивная белая туша теплохода, уже полусонный женский голос с пластинки, волнуя и дразня, повел прощальную дежурную песенку о том, что — «проводяют пароходы совсем не так, как поезда».

Каюта была маленькой, но достаточно удобной и уютной: диван с высокой мягкой спинкой, у окна небольшой столик с намертво прикрученной к нему настольной лампой, у дверей шкаф для вещей и одежды и за тяжелой зеленой занавесью — раковина для умывания. Виктор впервые взял отдельную каюту и теперь с нетерпением ждал отплытия, чтобы в полную меру насладиться в ней своим одиночеством. Здесь он сам себе хозяин, сколько угодно будет валяться и читать, никому не мешая и ни от кого не завися, вечером поднимет в окне решетку и зажжет настольную лампу, утром отоспится до последнего,

до усталости в голове, и выйдет на борт, под ветер.

Студентом он ездил в третьем классе, помещавшемся тогда внизу, в трюме, и эти поездки всякий раз были для него праздником, о котором он начинал мечтать еще с зимы и к которому готовился со всей возможной тщательностью: копил деньги, выкраивая рубли из тощей стипендии, нарочно оставлял нечитаной самую лучшую, по слухам среди своего брата студента, книгу, подправлял как мог свою амуницию. Здесь он с полным правом, облаканным и пригретым в мечтах за месяцы зубрежки, позволял себе наконец небольшое расточительство: шел в ресторан, выбирал столик у одного из широких, в полстены, окон и заказывал пиво. Это и была главная, самая волнующая часть праздника — сидеть, небрежно развалившись в кресле, потягивая холодное пиво и делая вид, что понимаешь в нем толк, и смотреть, смотреть без усталости в окно на ровное и неторопливое течение, в которое врывается пароход, на берега, на все то, что на них стоит и живет. Тогда еще не существовало этой песенки — «вода, вода, кругом вода», которую с выразительным бесстрашием продолжает сейчас тянуть все тот же полусонный голос, но вода и тогда завораживала ничуть не меньше, чем теперь, — завораживала, пьянила и влекла куда-то, вызывая смутное и глубокое беспокойство. Это было какое-то необычное, необъяснимое, неземное состояние, когда, будоража душу, вдруг всныхивали неожиданные желания, чудились необыкновенные подвиги или ни с того ни с сего приходило умиление собственной жизнью, где самым большим счастьем казалось — видеть, думать, запоминать.

Здесь же, на пароходе, у него случилась однажды любовь со студенткой из медицинского института, девочкой хорошенькой, но тоненькой до того, что невольно брало сомнение: каким образом ей удалось вместить в себя все, что положено иметь человеку? Она ехала не одна — с матерью. Виктор уже не помнит теперь, с чего, с какой случайности началось это знакомство, зато хорошо помнил, как всю ночь потом они прятались от ее матери, скрываясь то на верх-

ней палубе, то в корме, среди бочек и огромных катушек с тросами, то в трюме, на его скамье; как он укрывал ее от ветра своим пиджаком, как счастлив был, слушая ее торопливый и, в сущности, чепуховый шепот. Вот что творит с людьми «вода, вода, кругом вода». Все лето затем они гнали друг другу нетерпеливые и нежные письма, а встретившись осенью в городе, в стороне от воды, спокойно и без всякого сожаления разошлись.

Грянул наконец отчаянный марш, и теплоход тут же легонько отвалился, отодвинулся от стенки. С берега и с борта закричали, замахали друг другу, слышались отдельные слова команды в машинное отделение, где-то тревожно и громко заплакал ребенок. Теплоход встал поперек реки и дал течению развернуть его вниз, по ходу. С берега он сейчас выглядел, наверно, очень красиво: белый, легкий и длинный, сняющий всей своей оснасткой. В нынешней навигации он шел только в первый, именитый рейс и был чисто убран, подкрашен и подлажен, матросы шеголяли в новенькой форме, молоденькие проводницы улыбались вежливыми и любопытными улыбками. Все это потом поистреплется, померкнет или покажется просто ненужным и лишним, но пока, если не придирааться, все было в довольно приличном виде. Если бы еще не пахло так сильно краской в каюте.

Теперь уже двинулись своим ходом. За бортом зашумела потревоженная вода, быстрее потянулся назад берег, в окно рванулся ветер. Дышать стало легче. Виктор поднялся с дивана и не спеша, принаравливая себя к праздной и ленивой жизни в дороге, начал устраиваться: достал из чемодана то, что могло здесь понадобиться, сходил к проводнице за постельным бельем. На него нашло ровное и приятное удовлетворение собой: вот он и едет, несмотря ни на что, все-таки едет... Можно пойти сейчас в ресторан и, усевшись, как когда-то, у окна, попросить пива. Правда, он уже отвык от пива, но, чтобы показать и самому себе, и кому-то еще, кто помнит его по прежним привычкам, что он все тот же человек, одну бутылочку выпить стоит.

Пять лет он не был дома, в своей деревне, долгих пять лет, которые сильно и изменили и усложнили его жизнь. За эти годы он повидал многие другие края, съездил даже за границу. Все это было хорошо, полезно и нужно ему; он возвращался обратно исполненным какого-то особого, внутреннего смысла; в него как бы вливалась свежая кровь, внося в привычное и размеренное существование чувств и остроту и новизну. Но до чего же все-таки устал он в этих поездках! От начала и до конца там приходилось быть в постоянном напряжении: всегда что-то тревожило впереди, вынуждало подстегивать или, наоборот, удерживать себя: все время, боясь ошибиться, надо было делать выбор: то или это, одно или другое, туда или сюда. Даже редкие минуты расслабленности казались там покоем человека, подвешенного вверх ногами. И только дома (уже и не дома, надо говорить, а как-то по-другому, потому что у него своя семья в городе, из которого он сейчас

выехал), и только в родной деревне, у отца с матерью, он знал, отдых его будет полным, абсолютным и неощутимым; он пойдет туда, куда пойдет, станет делать то, что взбредет в голову, он окунется в эту жизнь, как в возвратившееся детство, и долго будет оставаться там в счастливом забытии, не помня ничего ни о себе, ни о других и подчиняясь лишь самым простым и легким желаниям. Уже и теперь он чувствовал себя так покойно и уютно, как давным-давно с ним не бывало, словно каждая клеточка, распутавшись из тугого клубка, наконец-то нашла в нем свое место.

Он все же решил заглянуть в ресторан, хоть и не знал, останется там или нет. Один столик у окна оказался свободным, словно специально для него, и он не посмел уйти. Раньше Виктор плавал на пароходах, это был теплоход, причем теплоход морского типа, не боящийся большой волны, но ресторан в нем, похоже, остался прежним, как бы перенесенным с парохода в полной неприкосновенности, — то же полукруглое, покатое к бортам небольшое помещение в корме, с узкими, на две стороны, дверями, те же просторные окна, убранные желтыми шторами, и те же низкие и мягкие кресла в белых чехлах. Виктор мог бы побиться об заклад, что и меню здесь ничуть не изменилось, разве что в какой-нибудь малости. Он раскрыл карточку и улыбнулся. Конечно, все то же: щи, постовато-кислый запах которых он помнил еще и теперь, яичница, бифштекс и рисовая каша. Но речную рыбу заменила морская, это он должен был предвидеть. Во всем остальном меню походило на высеченную раз и навсегда в камне надпись, свидетельство постоянства вкуса неизвестного снабженца.

Сидеть, развалившись в кресле, со стаканом пива, оставшаяся его в руке, было и удобно и приятно. Где-то наверху неслышно и сильно работал вентилятор, гоняя воздух, и по залу кругами ходил ветерок, шевелил на окнах легкие высокие шторы и осторожным, затухающим движением касался лица. С одной стороны за соседним столиком уже пошумливали за пивом компания мужиков, с другой — с молчаливой и несерьезной, как в игре, шутливой сосредоточенностью ужинала семья: он и она с одинаково широкими и чистыми, почему-то похожими (уж не от совместной ли жизни?) лицами — молодыми и добрыми, и мальчик с девочкой примерно одного возраста, лет шести или семи. Ребятишки, не доставая до стола из кресел, ели стоя. Видимо, это и вызывало хитроватовнимательное и веселое настроение родителей; то и дело они переглядывались и улыбались. Наблюдая за ними, Виктор невесть с чего ощутил в себе непонятную ревность к этой небольшой, но уже полной семье, что-то, помимо любви и согласия, задевало и волновало его в ней — то ли похожесть и физическое равенство, которые сразу бросались в глаза, словно он и она специально были созданы друг для друга, как левая рука для правой, то ли осторожная, четная умеренность: мать, отец, сын, дочь — всего, что может быть, по разу, но все красиво, крепко, во славу человека, то ли что-то еще, скрытое более глубоко и прочно. И потому, что он не мог найти

объяснения своему чувству, беспокойство не проходило и мешало ему; оно не сразу забылось и после того, как за соседним столиком отужинали и ушли.

А за окном, за неширокой полосой воды, все скользил и скользил берег, за кормой удивленно и неохотно вскипала вода и, подобравшись, катила на две стороны волны. Река позади, казалось, легонько раскачивалась то влево, то вправо; на ее поверхности далеко и долго, докуда хватал взгляд, держалась после волн искрящаяся на солнце рябь, от которой больно и задорно было глазам; течение там словно бы слабело, а то и прекращалось совсем. Берег часто менялся: то низкий, ярко-зеленый, на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу яр, наверху постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, что-то кричат и машут руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от солнца ладошками, стоят взрослые.

Виктор вырос на этой реке, каждый божий день пропадал на ней с утра до ночи, и большая часть его детских и уже не детских радостей была связана с ней. Никогда не забыть ему, как всякий раз боялся он пропустить ледоход, с каким восторгом и страхом, не помня себя, смотрел на дикую, безудержную силу, сталкивающую лед вниз, вздыбливая и кроша неповоротливые, отливающие глубокой синевой глыбы; какой многоголосый и протяжный, со стоном и отчаяньем стоял вокруг гул.

Одно воспоминание, чуть ли не самое дальнее, было ярче других. Ему тогда исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а исполнилось именно в тот день — 1 Мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля — начало мая. Ему, мальчишке, мало было того, что его день рождения столь удачно совпал с праздником, ему еще хотелось, чтобы к этому дню обязательно тронулся лед, — иначе не будет счастья. Откуда, из каких глубин и снов взялась в нем эта суеверная связь одного с другим, он, конечно, не знал; но только и до сих пор еще, правда без прежней откровенности и заинтересованности, как бы в шутку, он продолжает следить, когда — до или после праздника — вскрывалась река, улыбнется или нет ему нынче удача (вот и еще разница: счастье поменялось на удачу, с которой легче и безопасней обращаться — если и упустишь, не велика потеря; с возрастом он, кажется, приучает себя рисковать только тем, что недорого и стоит).

С раннего утра 1 Мая он сидел на берегу, вглядываясь в посиневший, вспучившийся лед. Никогда еще не приходилось ему видеть первого, решающего толчка, который срывал лед с места, и теперь он ждал его с нетерпеливым и тяжелым вниманием, больше всего на свете боясь, что день кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный, вербный запах только что освободившейся воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала; порой изнутри доходил глухой, утробный

шум, затем раздавался быстрый и сильный, как выстрел, треск, и во льду вспыхивали трещины. Вот-вот все это должно было сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалось какими-то силами, цеплялось за что-то, упиралось, но никуда не двигалось. Весь день он прождал напрасну, вечером, вконец бедного и измученного, его с трудом увели домой. Теперь все: никогда не кончится война, не придет с фронта отец, не полюбит его соседская девчонка Нинка. Жить дальше не имело никакого смысла.

Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то затихал, то вдруг мучительно и тревожно возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка наверняка тут же спрятался бы от него с жоловой под одеяло и постарался скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх и подняться с постели. Следуя какой-то постоянной властной силе, он ошупью добрался до двери, неслышно приоткрыл ее и выскользнул на улицу. И небо и земля были затянуты сплошной, крошечной темнью, сквозь которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но еще больше боясь идти шагом, он бросился на берег.

Здесь было светлее. Ото льда поднималось слабое серое мерцание, и в нем он легко рассмотрел, что река как стояла, так и стоит. Ничего в ней с вечера не изменилось. Она даже как бы успокоилась, притихла, после долгих напрасных потуг на нее нашло безразличие. От ужаса, от непонимания того, что с ним происходит, почему он тут, а не дома, не в постели, маленький Витька оцепенел. Прибежав сюда, он уже не в состоянии был бежать обратно. От страха у него отнялись ноги.

Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилося, покатилося прямо на деревню, грозя раздавить и смять ее, и, только чуть-чуть не докатившись, развалилось. Надвигалась гроза. То, что он принял за шум реки, было громом небесным, первым в ту весну, родившимся нежданно и поначалу негромко. Вспыхнул и тут же погас короткий свет молнии, и снова напугался гром, выпрямляясь в своем движении над рекой, и снова застрял неподалеку от деревни.

Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землей, оно уходило в бесконечную темь, сверху нависало огромной неспокойной тяжестью. В нагромождении туч, двигаясь и меняясь, зловещей синевой пылали какие-то полосы и пятна. В промежутках между ударами грома, когда наступала тишина, с высоты доносился невнятный, едва уловимый шум — не то шуршание туч, не то приглушенный свист ветра. Внизу воздух был тревожно-неподвижен и пуст: без резких весенних запахов, без обычной ночной свежести — гроза успела высосать из него все.

Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, словно не зная, стоит или не стоит греметь, но, растравив себя ворчаньем, вдруг

делал мгновенный и яростный прыжок в сторону и тяжело, натужно лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не успевал отшуметь один раскат, возникал другой. В ярком и мертвенном блеске молний избы в деревне казались прозрачными, и если за стенами ничего нельзя было увидеть, то лишь потому, что за ними ничего и не было, а лес — до жути белым и неживым, с узкими и длинными каменными стволами.

Втянув голову в плечи, мальчишка всхлипывал — судорожно, беспомощно и уже беспамятно. Он был на ногах, но давно потерял ощущение земли под собой, словно его, как пушинку, подхватило и унесло куда-то и никто никогда не отыщет даже и следа этого маленького несчастного человечка.

Гроза, добываясь дождя, все накалялась и накалялась. Небо из совершенно черного, непроглядного стало темно-багровым и выделялось четче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Все вокруг было заполнено только грохотом, подстегиваемым частыми взмахами молний, все сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он задыхался от ярости... вот-вот должно было произойти что-то и совсем уж страшное.

И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплесала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил все небо, раздирая его на части, — оно треснуло и обвалилось.

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в состоянии был ни слышать и ни видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба, слабей и легче, но тот, тот самый звук повторился где-то неподалеку от него. В жутком и неожиданном радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая лед, выносит середину реки. Ее только-только сорвало, ее полоса была совсем неширокой.

И сразу же упал дождь. Гроза стала быстро отходить, молния взблескивала лишь в одной стороне, на самом краю неба, туда же, совсем присмирив, переместился гром. Небо потемнело и притихло, из него сыпал дождь.

А мальчишка все плакал, не утирая слез, и все смотрел, смотрел на реку, на ее шумное праздничное освобождение, начавшееся ночью, среди грозы, подалее от людских глаз.

...Бог мой, неужели это было?! И было ли это так, как он запомнил, не приснилось ли это ему в чистых и ярких детских снах?

...Еще несло льдины, лед лежал и на берегах, а они, ребяташки, уже забрасывали в мутную зеленую воду переметы. Вскрывшаяся река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг становилось сразу просторней

и выше; в легком и звонком воздухе со свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; звучала капель с нависших над каменишником тяжелых ледяных козырьков; весело и широко играло солнце. Было какое-то особое — чуткое и тайное счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку перемета над водой, слушать, как тюкает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце и весь огромный мир сходил в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки.

Скоро река выправлялась, освободившись от всего лишнего, чужого, снесенного в нее с гор шальными весенними речками и ручьями; вода в ней становилась темно-голубой, прозрачной, так что далеко было видно дно; течение натягивалось, находило свою неторопливую, спокойно-быструю силу, которую могло сбить только долгое ненастье. Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там ягоды, потом грибы; Виктор выпрашивал себе у бакенщика два ближних к сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам гасил, научился не хуже мужиков подниматься в лодке на шесте, управляться с одноручным веслом. Ему доставляло неустанное, бесконечное удовольствие бывать на реке, заглядывать в ее жуткую заманчивую глубину, в сильный вал, испытывая свое счастье, сталкивать лодку и грести от берега, все дальше и дальше, взлетая и проваливаясь в волнах, а затем, удачно вернувшись, считать себя победителем и думать, что река после этого сразу стала спокойней.

В темные осенние ночи дедушка, теперь уже покойный, брал его с собой лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смолье, дедушка, широко расставив ноги и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз; в тяжелом металлическом цвете воды слабо поблескивал опавший лист; лопались и меркли пузырьки; где-нибудь посреди реки невеста с чего в спокойную погоду долго держалась на одном месте длинная полоса зыби, мерцающая непонятным волнением, которая затем так же неожиданно, как и появилась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе — от проплывающих в строгом молчании склоненных с берега кустов, от таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика ночной птицы, от сказочной и предательской пляски огня, на который где-то мчит-ся и никак не может остановиться ошалевшая от его сияния рыбина.

Воспоминания, связанные с рекой, жили в нем отдельно от других, и жили теплой душевной печалью, возле которой он часто грелся и отдыхал, перед тем как двинуться дальше. Он понимал: их сберегло детство — все, что относится к первым впечатлениям, сохраняется надолго, может быть, навек, но в том-то и дело, что из многого другого детство выделило именно их. Тайга не волновала и не пытала Виктора так, как река; тайга оставалась и должна была оставаться на месте, между тем как

река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки. По утрам, боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно шел проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера.

Он расплатился за пиво и вышел на борт. Большое закатное солнце было совсем низко и близко, так что казалось, будто оно не уйдет за гору, а сядет на берегу, и берег в ожидании этого первого, чудесного и опасного прикосновения замер. Его уже накрыла тень от горы, но краски были светлые, ясные и точные, в сплошной зелени листьев легко различались осина и береза, в яру сочно краснела глина. Второй, противоположный берег, залитый солнцем, пологий и пустой, лежал далеко и тоскливо. Похоже, там было болото, высокая темная трава росла неровно, пучками, нигде поблизости не маячила живая душа. Вскоре отошла куда-то вглубь и гора с левой, с западной стороны, и солнце сразу отодвинулось от реки и поднялось выше, стало меньше. По небу понесло дым.

Минут через пятнадцать объявили первую пристань. Теплоход подходил к городу, которого не так давно — Виктор в своих первых плаваниях еще захватил то время — не было здесь и в помине. Построили его быстро и, пока строили, писали и говорили о нем много: в глухой тайге, на голом месте и так далее, хотя по сибирским понятиям то, что лежит у дороги, да еще у железной, уже никакая не тайга. Затем появились другие, более громкие названия, и город, было, притих, но вскоре прославился снова, на этот раз своими демографическими показателями: выяснилось, что здесь, если годочки старого и малого сложить вместе, а затем разделить на число жителей, поселился самый молодой народ в стране, который в расчете на каждую тысячу душ больше всех играл свадеб, после чего, естественно, больше всех рожал детей. Но с тех пор город отстал, кажется, и по этой части.

С реки его не было видно, он стоял в стороне, торчали лишь его высокие разномастные трубы. Но свой причал он на всякий случай имел. Пассажиры обычно пользовались им на обратном пути. Течение здесь сильное, и теплоход, поднимаясь вверх, шлепает отсюда до конечной остановки добрых восемь часов, между тем как дорога на электричке занимает всего час. Поэтому наиболее нетерпеливые выгружаются здесь и едут на вокзал. Так было прежде, так, видимо, бывает и теперь. Теплоход наполовину пустеет; лишь на скамьях, обложившись узлами, с бесконечным терпением на лицах сидят старушки да по верхней палубе, не находя себе перед прибытием места, бродят семейные с детьми. Становится тихо и сиротливо: команда занята уборкой, оставшиеся пассажиры почему-то говорят вполголоса, смотрят вокруг задумчиво и печально, а те и вовсе уединяются,

надолго прилипают к перилам, уходят в себя. Берега, кажется, не сдвигаются, не сползают вниз, лишь чуть разворачиваются, шевелятся, когда теплоход в поисках наиболее легкого и способного пути ползет то к одному, то к другому из них; но там и там одинаково яростно и шумно бьет о нос теплохода сильная встречная струя, высоко вверх поднимая крупные и острые брызги. Все это Виктору предстояло снова увидеть и испытать на обратном пути, но прежде он, помнится, любил эти последние длинные и томительные часы, потому что ехал из дому и никуда не торопился; нетерпение и пустая суетливость других, кто то и дело выбегал смотреть, сколько еще осталось плыть, доставляли ему какое-то недоброе, злорадное удовольствие: неужели, думал он, они не понимают, что в этом ожидании надо исходить не из расстояния и не из скорости, а из времени, указанного в расписании, которое осуществится именно в свой срок, как бы быстро ни двигался пароход. Знай, что ты приедешь ровно в девять часов вечера, ни минутой раньше, и до тех пор спокойно спи или читай книжку, а не изводишь и не дергаешься зря — мимо не провезут.

Словно напоминая, чем еще совсем недавно был знаменит этот город, на берегу теплоход ждала свадьба. Она топталась возле маленького автобуса, на котором, видимо, и приехала сюда прямо от стола. Устало и нервно взрыдывала гармошка, но под нее уже не пели и не плясали, под нее лишь гадели, поглядывая на подчаливающий теплоход. Как только он приткнулся к дебаркадеру и застыл, свадьба пошла к сходням и расположилась за деревянным бортиком. Парни уговаривали кого-то не ехать, погулять еще день или два, а кого уговаривают, в толпе было не рассмотреть. Виктору почему-то захотелось, чтобы поехали жених с невестой, чтобы это они решили устроить себе небольшое свадебное путешествие, но скоро он понял, что они тоже кого-то лишь провожают. Жаль, подумал он, очень жаль. Вместе с ними на теплоходе поселилась бы чистая и явная тайна, вокруг которой все обретает прекрасный и загадочный смысл. Приходят воспоминания и мечты о любви и счастье и приходят грусть о том, что могло свершиться и удалиться, но не свершилось и не удалось; больно и горько вздрагивает сердце, уязвленное признанием, что когда-то, в лучшие дни своей молодости, оно билось неудачно; и в слабом и покорном обещании чего-то неведомого просыпается душа. Неужели они не могли догадаться взять билеты в каюту и поехать куда глаза глядят, туда и обратно, вниз и вверх по течению, подальше от шумного и пьяного застолья, от друзей и родственников, от выкриков и звона посуды. Здесь бы им никто не помешал, никто не потревожил бы их одиночества, и люди смотрели бы на них с завистью и надеждой; люди завидовали бы их неопытности и неведенью, тому, что они не знают и не хотят знать, что с ними будет завтра, сколько им любить друг друга, кого родить, когда расставаться и встречаться, тому, что они околдованы и одурманены первой близостью, важней которой для них сейчас ничего нет. Они были бы

на теплоходе главными пассажирами, и теплоход плыл бы куда-то только ради них, и лишь потому, что на нем оставались еще свободные места, он бы прихватил по пути и всех остальных.

Виктор внимательно всматривался в лица женщин и невесты, пытаясь найти в них что-то особенное, какое-то нечаянное и удивленное признание, стыдливое откровение, но видел одну усталость да в цепких прищуренных глазах девушки холодный вызов: что вы на меня уставились? Судя по всему, свадьба продолжалась уже не первый день, но молодые еще не скинули с себя свадебные наряды: он был в черном, к этому времени изрядно помятом костюме, она — в белом, как прежде говорили, подвенечном платье, но узком и коротком, много выше тяжелых крепких коленок с подрагивающими чашечками, с головы широко и легко свисала на плечи узорчатая фата. Девушка держала парня за руку, и на губах ее забыто и слабо билась улыбка. Вокруг них снова разливали вино и чокались, потом поднесли и им — девушка, не дожидаясь жениха, запрокинула голову, открыв длинную красивую шею, и одним махом, помужски выпила.

Рядом с Виктором кто-то удивленно присвистнул. Он обернулся — почти вся палуба была забита людьми, наблюдавшими за свадьбой с вниманием и любопытством. Справа от Виктора, свешиваясь через борт, стоял парень с веселым, горяче-розовым после ресторана, круглым лицом, на котором открытый, подрагивающий рот выдавал с трудом сдерживаемое желание вмешаться. Когда девушка столь решительно выпила свое вино, парень не утерпел:

— Ну, да-е-е-от!

Девушка обняла жениха за шею и потянулась к нему, чтобы сказать что-то на ухо, но движение это, понятное неверно, обмануло и разочаровало пассажиров с теплохода.

— Горько! — негромко подбросил кто-то сзади.

— Горька-а-а! — обрадованно, во все свое могучее горлышко, приседая, взревел парень рядом с Виктором и оглушил его, в ушах у Виктора жалобно и тонко запели какие-то струночки. — А вы что?! — парень обернулся к народу и требовательно вскинул вверх руки. — А ну! Три-четыре! Горька-а!

На этот раз ему подтянуло несколько голосов. Остальные, радуясь приключению, смеялись. На крики с той и другой стороны, с кормы и носа теплохода, торопились люди. Любопытные, возбужденные лица выглядывали из кают. Наверху, над головой Виктора, слышались быстрые шаги и тут же раздался короткий и густой — одобрителный гудок теплохода.

— Три-четыре! — командовал парень. — Три-четыре!

— Горька-а! — дружно и мощно отзывалась палуба. — Горь-ка!

Свадьба растерялась. Жених взял девушку за руку, чтобы увести ее, но она вдруг быстро и решительно, с неожиданной силой и страстью притянула голову жениха к себе и впиалась в его губы долгим и откровенным поцелуем.

Наверху замерли. Чей-то сорвавшийся и словно

бы жалобный смешок тут же умолк. Парень, подававший команды, звучно облизнулся и задумчиво, растянутым голосом, сказал:

— А ты, девка, не умаялась.

Невеста подняла наверх плuche прежнего прищуренные глаза и, уже дразня людей с теплохода, снова потянулась губами к губам жениха и завопилась в них.

— Я говорю, не умаялась она у тебя, — с веселой злостью крикнул парень жениху. — Что ж ты это так, а?

— Езжай, куда едешь, — отмахнулся тот.

— Я-то поеду, но ты смотри, как бы из твоей команды кто к ней не подъехал. Вон они, все, как один, комсомольцы-добровольцы. Смотри.

Началась перепалка. Жених, торопясь уйти от нее, пожал кому-то, кто уезжал, руку и потянул за собой невесту. С палубы, поверх дебаркадера, было видно, как они поднялись на берег и, не оглядываясь, вошли в автобус. Ребята со свадьбы попытались силой увести туда же и отъезжавшего, но он вырвался и заскочил на теплоход.

Парень рядом с Виктором долго не унимался:

— Смотри, жук какой! Увел. Съели бы ее тут. Она ему еще покажет. Она ему покажет! — грозил он. — Эта девка — о-е-ей! Вон, поехали, повез. Вези, вези, не останавливайся, а то как бы не убежала. Я ему правильно сказал, он не раз меня вспомнит. Жених-их.

Когда снова снялись, стало уже темнеть. Солнце давно ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды узкой ломающейся полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и низко горбленые, заволакивало серой, едва уловимой дымкой. Кое-где уже пробивались огоньки, но, помигав, пропадали, растворялись в неверном и зыбком свете сумерек. Небо казалось подтаявшим, размытым, звезды на нем еще не проклюнулись, горизонт мягко и невидимо сливался с землей. От воды несло сыростью и прелью, но и сквозь них с берегов доставали слабые и приятные, чуть горячие запахи остывшего жаркого дня. Река светилась как бы изнутри, из своей глубины, и, переливаясь, из конца в конец блестела четкой, густо-синей лентой, таинственной и холодно-сказочной, над которой в воздух поднималось бледное и призрачное сияние. Мерно и приглушенно шумела за бортом вода, да от катившейся по камням волны долетало осторожное и ленивое журчание.

Виктор стоял, слушал, смотрел. И эти печальные и чуткие картины позднего летнего вечера у реки, со смутными и теплыми, еще не затвердевшими красками; чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и надежность всего этого вызвали в нем сладкое и томительное чувство благодарности и любви. «Как же так? — упрекая и сокрушаясь в забытии, рассуждал он. — Почему мы на вред себе не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую

очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Он спрашивал и не мог ничего ответить.

Потом он уже не смотрел, не слушал и не размышлял. Он плыл в воздухе, совсем один, сворачивая то к дальним молчаливым горам или черным пашням, то снова возвращаясь к реке, и все, что оставалось позади него, отходило ко сну. Он плыл, благословляя открывшиеся ему в свой сокровенный час родные места на отдых и силу, и слышал, как они отзываются ему благодарным шепотом.

Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закругленный, как баржа, и Виктор очнулся. Да, проплыли остров... Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно ярко и щедро цветут цветы, где запахи воды, земли и буйной зелени смешиваются в тонкий и острый хмельной настой, который, несмотря на вечные ветры, никогда не пропадает, лишь к осени становится острее и суше. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а в нем ягодник — больше всего смородины. И всегда на острове возникает удивительное — обманчивое и одновременно верное ощущение движения, словно ты на корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно, и возникает не столько от воды кругом, сколько от волнующего чувства какой-то приподнятости над землей, пьянящего и желанного парения. Знаешь, что стоишь на твердой земле, но под ногами, передвигаясь, мелко подрагивает, поворачивает то влево, то вправо, и ты уже не в состоянии сопротивляться — плывешь куда-то осторожно и загадочно.

И вдруг Виктор испуганно вспомнил: а ведь возле его деревни больше нет островов. Нет больше ни Хлебника, ни Березовика, где когда-то он брал смородину, рвал дикий лук и чеснок, пас коней, боронил поля и косил сено. Их затопило. Поднялась вода, выше любого, самого страшного наводнения, какое видывали на своем долгом веку острова, и захлестнула, подмяла их, изо всех сил старавшихся сжаться и закаменеть, чтобы выстоять до солнца, но вода все прибывала и прибывала, скрыла под собой деревья и ушла выше. Теперь она давно уже вымыла и разнесла по сторонам всю землю, на которой росли хлеба и травы, и сровняла острова с дном. Нет больше островов, и названия их, сиротливые и пустые, потеряв свою суть, звучат все реже и отходят все дальше, откуда уже не дано вернуться.

Стало прохладно от ветра и как-то неловко, известно на душе от этого воспоминания, и Виктор пошел к себе в каюту.

Да, давно он не был в деревне. Но последний свой приезд туда помнил так хорошо, будто только сейчас и возвращался обратно. Это было как раз

накануне затопления водохранилища ГЭС, которую строили ниже по течению, и деревню переносили на новое место. Точней сказать, ее разрывали на части. Колхоз уезжал куда-то за двести километров в чужие степные края, леспромхоз, занимавшийся очисткой ложа водохранилища, оставался здесь же, но от воды переносил свое хозяйство в гору, сплавную контору переводили в другое село. На три стороны снималась деревня. Никого никуда не неволили, но и без того непросло было выбрать человеку свою судьбу, если он не знал другой работы, кроме пашни, и не представлял, как можно жить где-то, где нет ни реки, ни тайги.

Виктор вот так же приплыл на пароходе в начале июля и тоже вечером, под сумерки. Еще с парохода он заметил, как сильно поредела и оголилась деревня, потеряв свой привычный порядок и вид. На пристань, кроме нескольких ребятишек, никто не пришел — значит, было не до того. Берегом, не выходя на улицу, Виктор направился к себе домой; перед тем, как свернуть в проулок между огородами, постоял у воды, греясь под низким и теплым, бьющим прямо в лицо солнцем из-за реки, и только после этого зашагал дальше. Он не удивился, когда, подняв глаза, не увидел поверх бани знакомого ската крыши: опоздал.

Избу успели разобрать. Часть высокого глухого забора из плах, на котором маленький Витька спустил с себя не одни штаны, тоже снесли, вторая часть, примыкающая к амбарам и оканчивающаяся широкими и тяжелыми, старинной работы расписными воротами, стояла нелепо и горестно. Особенно нелепо выглядели упрямо закрытые в разгороженную ограду ворота, рядом с которыми уже обозначилась внутри дорожка. Виктор нарочно не пошел по ней, а повернул большое чугунное кольцо на воротах и приподнял задвижку. Из амбара к нему кинулась мать, но, не добежав, остановилась и заплакала, показывая рукой на чернеющее избище. Вышел отец, поздоровался с Виктором за руку и, пряча глаза, сказал:

— Ну, вот и хорошо, что приехал. Хоть поможешь теперь. А то уж мы не знали, что и делать.

Виктор подошел к избищу и долго стоял над ним, как над могилой, с волнением и недоумением глядя на рассыпанную золу, на куски окаменевшей глины от русской печки, на две маленькие металлические пуговицы, которые, быть может, он сам же когда-то и закатил под пол, и вдыхая теплый и кисловатый, еще не испарившийся запах человеческого жилья. Стенки подполья осыпались, но на одной, уцелевшей, зеленели изогнувшиеся вверх картофельные ростки. По старой, изопревший шепе проворно бегали зеленые жучки, в углу, то приседая, то поднимаясь на своих длинных тонких ногах, шевелился большой серый паук. И этот открывшийся глазу, вытертый деревом до пыли кусочек земли, который занимала изба, показался вдруг Виктору до того маленьким и ничтожным, а все, что составляло избу и что лежало теперь рядом двумя аккуратными штабелями, — до того грубым и ненадежным, что он и не знал уже, верить ли,

что все это стояло именно здесь и было добротно, уютно и просторно.

В тот же вечер он обошел всю деревню из конца в конец. От нее оставалось уже немного. Только несколько изб и стояло еще спокойно, остальные были или развалены, или початы: неуклюже и голо торчали раскрытые стропила, мертво и властно смотрели в улицу проемы выставленных окон, за которыми, не оседая, клубилась пыль и недоуменно и зябко, словно после пожара, стили под небом оставленные на произвол судьбы русские печи, «битые» из глины и не приспособленные для переездов. По улице валялись осколки стекла, куски кирпича и сгнившего, лохматого и вязкого дерева, легкие и колючие, похожие на «перекати-поле» клубки почерневшего мха, которым когда-то конопатили стены, — все то, что обычно и появляется при разорении, и остро ощущался в воздухе сырой и смрадный запах поднятого тлена. Не трогали только огороды, вдруг весело и отчаянно вышедшие на передний план, не могли тронуть и кладбище, расположенное посреди деревни, выше мостика через речушку, и лежащее посреди общей сутолоки в каком-то особенно жутком молчании. Не один век с тех пор, как поселились здесь люди, освящало и полнило оно эту землю ушедшими, смущая живых своей тайной и болью, и вот теперь подходила пора расставаться.

С Виктором здоровались, заводили разговор, но прежде всего спрашивали:

— Видал, что делается, а? Светопреставление.

Он заметил, что люди взбудоражены как-то неестественно и испуганно. То не к месту смеялись, то вдруг на вопрос умолкали и смотрели мимо задумчиво и печально, отдавшись своим тревожным мыслям. С трудом заставив себя вытащить первый гвоздь и снять с крыши первую доску, они начинали торопиться, ими словно овладевал неудержимый и яростный азарт разрушения, который не остывал до тех пор, пока было что ломать. По вечерам, боясь одиночества, они собирались вместе у кого-нибудь на бревешках от поваленной избенки, курили и говорили об одном и том же — о переезде.

Это было жаркое, суматошное и душное лето. Горели леса, которые не успевали убрать с пользой, из-за реки на парамах плавил постройку (сюда же, в одну кучу, собирали еще три ближних деревни), шныряли какие-то незнакомые люди, с надрывным ревом ползли в гору машины и тракторы, перевоза на новое место разобранные дома, стучали топоры, больше обычного, чувствуя перемены, кричал скот, как всегда в дни неурядиц и беспорядка, много спорили и кричали по пустякам люди, а по ночам, когда ненадолго утихал весь этот шум и гам, в наступившей тишине принимались выть собаки.

И шли бесконечные разговоры о деньгах: кто выгадал и кто прогадал на переселении, почему оценочная комиссия износ одной избы определила больше, а другой — меньше, кто уже успел пропить свои денежки и кто приберег на «черный» день. Рассуждали, как вывернется Николай Тоцилов, известный в деревне хитрец, который собирался сначала ехать с

колхозом и получил деньги за длинную дорогу, потом передумал, но деньги по перерасчету возвращать отказался, сославшись на то, что у него их нет.

Каких только историй не наслушался Виктор в то лето, чего только не нагляделся.

Тогда же, при нем, уезжали колхозники. Колонна была готова еще с вечера: погрузили на лесовозы и тракторные телеги жилье, столкали в грузовики вещи. Трогаться договорились с зарей, чтобы за день поспеть до места, но едва-едва снялись к обеду. Со времен войны не видывала деревня ничего похожего. Пили прощальную водку мужики; плакали, сквозь слезы отдавая последние наказы по скотине и огородам, бабы; испуганно и шустро сновали, сбившись в стаи, ребятишки. Обнявшись посреди улицы, горько и громко голосили две старухи — бабушка Виктора и их соседка, старуха Лукея. Всю жизнь они прожили рядом, каждый день ходили одна к другой на чай, давно решили меж собой, что и с того света будут прилетать к людям двумя одинаковыми пташками-подружками, но теперь старуху Лукею увозили. В передней машине строго и торжественно, готовый на любые испытания, сидел глухой дед Степан в добытой где-то милицейской фуражке и при двух Георгиевских крестах на полинявшей добела гимнастерке. Тракторист Иван Зуев долго гонялся за кобелем, которого хотел взять с собой, но кобель никак не давался, и Иван со злости пристрелил его, а потом за пятнадцать минут напился и стал выбрасывать из машины свои узлы. Кто-то в каменной неподвижности сидел на кладбище, кто-то в последний момент спохватываясь и бежал за забытой у соседки посудинной. Горели подожженные с вечера колхозные конюшни, и горький дым, не подымаясь, стлался по улице. Срывалась и умолкала нетрезвая песня, в который раз раздавалась команда садиться по машинам. Наконец тронулись, заплакали, закричали и запели громче, поехали.

День был тихий, неяркий, и так же тихо и ровно текла река, не зная за собой ни вины, ни беды.

После отъезда колхозников оставшиеся заторопились еще больше. Теперь только на короткие темные часы и умолкал перестук топоров. Новая деревня одним концом выходила в поле, вторым должна была пробиваться в лес. Участок под избу отцу Виктора достался довольно чистый, со старой межи, но с тоской и отчаянием смотрел отец на прохладный, тенистый угол немолодого сосняка, который ему предстояло корчевать под огород. Виктор помог ему собрать избу и уехал. Ему пора было выходить на работу.

Из дому писали часто, сообщая больше о том, кто умер, кто женился и кто родился, а написать, как стоит сейчас деревня, как она живет и здравствует, не умели.

Но теперь уж только до завтра. Завтра он увидит все своими глазами.

Он долго сидел на диване в полутемной каюте, ни за что не принимаясь и глядя в стену бессмысленно и слепо. В открытое окно наносило прохладу,

от которой он начинал дрожать, но окно не закрывал. Постепенно воспоминание отошло и погасло. Теперь он знал, что, собираясь в деревню, обманул себя, он все время имел в виду деревню старую и почему-то не хотел вспомнить, что ее давно нет. Но не это сейчас беспокоило его, в конце концов, он ехал к отцу с матерью, которых обязан был повидать, где бы они ни жили.

За окном возникали и удалялись тихие и осторожные шаги. Где-то звучала музыка, и знакомый голос, казавшийся теперь бесконечно грустным, снова и снова дразнил редким, особо волнующим положением: «Вода, вода, кругом вода».

Он ждал чего-то, какого-то значительного и чудесного завершения этого длинного беспокойного дня, каких-то редких и счастливых волнений. Что-то должно было случиться. Что именно, он не знал и не гадал, но ждал и боялся упустить что-то такое, что могло быть только сегодня и не могло никогда повториться. Смутное и неопределенное чувство, томя таинственным обещанием, не давало ему покоя.

Позже он снова вышел на борт. Звезды, еще не назрев, были по-весеннему далекими и мелкими, зато луна, круглая и полная, висела под небом совсем низко и празднично. В ее молчаливо-торжественном серебристом свете все вокруг лежало в ленивом и блаженном оцепенении, и только река, в глубине которой во всей своей сказочной роскоши отражалось ночное небо, сверху отсвечивала своим стеклянно-зеленым надменным сиянием. Теплоход двигался почти бесшумно, чуть отваливая от бортов воду, и в чистом холодном воздухе мерещился тонкий, на одной струне, счастливо ноющий лунный звук, то спадающий на землю, то медленно уходящий вверх. Он звал куда-то, напоминая что-то дивное и давнее, и сердце, тревожась и не понимая, заходило в отчаянной мольбе: что? куда? Отзвучав, он возвращался опять и снова и снова бередил желанной и сладостной болью, снова и снова манил в чистые и заповедные дали.

В корме танцевали, и Виктор пошел туда, стал смотреть на танцующих. Здесь же были и муж с женой, за которыми он наблюдал в ресторане, когда они ужинали всей семьей. Кажется, только им одним танец и доставлял удовольствие, остальные топтались с нервным упрямством в движениях, с болезненной покорностью на лицах. На их лицах светилося наслаждение. Она положила ему руки на плечи, откинув голову назад и улыбаясь, и он, чуть приседая, кружил ее в полном и счастливом самозабвении. Но Виктору не пришлось долго любоваться ими. Муж что-то сказал ей на ухо, она в ответ засмеялась и покачала головой, но покачала с такой очаровательной медлительностью и с такой удивленно-радостной отзывчивостью в глазах, что отказ этот и невозможно было понять иначе, как согласие. Скоро, все так же кружась, они оторвались от всех остальных и поплыли по палубе в сторону, все дальше и дальше, пока не скрылись совсем. И больше не появились. И снова, как и в первый раз, Виктор поймал себя на

неловком и завистливом чувстве; он был рад, что они ушли, ему легче было наблюдать за такими же одинокими, как и он сам, и усталыми людьми, истомленными безуспешной надеждой дожидаться своего счастливого мига.

Нет, что-то все-таки должно было случиться и не случилось.

С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут же невзгод с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок теплохода. Сильней и ближе зазвенело небо и еще глуше и бледней стала земля. В отходящей к берегу волне, удлиняясь в свечки, играли звезды. Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул поверху и не тревожил речную гладь, но после волны за кормой оставалась легкая зыбь. Изредка сбоку возникали желтые или красные огни бакенов, возле них шумела вода.

Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но справа, на востоке, там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба.

И все так же мучилась и болела душа, отзываясь на какое-то прекрасное обещание, звучащее в ночи с неистовой и страстной силой.

Давно уже, года два назад, Виктор видал однажды запомнившийся ему сон. Собственно, это был даже не сон, а что-то среднее между сном и обыкновенными, вполне контролируемыми размышлениями, составившими в забытии горячую картину, бред истерзанного сомнениями мозга. У Виктора тогда только что вышла книжка рассказов, в которой была одна история об умирающем старике, со всеми вытекающими отсюда вздохами, ахами, мыслями и чувствованиями — не чувствами, а именно чувствованиями, поскольку последнее предполагало более тонкий разрез человеческой души. Мало того — как всякий неопытный и потому смелый писатель, Виктор пошел еще дальше: попытался перебраться за черту, которая отделяет одно состояние от другого. Потом он догадался, что этого делать не следовало, но догадался, разумеется, поздно.

И вот будто встал на пороге человек старого, почти прозрачного вида, очень похожий на дедушку Виктора, но с более тонким, благообразно-удлиненным, интеллигентным лицом (дедушка у Виктора был обыкновенный медвежатник; впрочем, подобная обыкновенность теперь уже стала редкостью). Встал этот человек из своего небытия и говорит:

— Прочитал я твою книжку.

— И как? — спрашивает Виктор, конечно, с надеждой, что книжка понравилась.

— А так, — вздохнув, отвечает тот. — Я не понимаю... — Он долго и задумчиво, с печальной проникательностью качает головой. — Не понимаю, зачем нужно писать о том, чего ты не можешь знать. Совсем не можешь, никак. Это не похоже ни на что совершенно, что у вас есть. Это настолько больше и значительней, настолько невероятней того, что может придумать ваша бедная фантазия... И потом... — полудедушка-полупрофессор грустно улыбается, — ваши слова не годятся для этого. Они слишком

мелки, слишком коротки. Вы о своем-то,— опять вздох,— о человеческом не можете говорить как следует, а тут вон куда захотел, в такую тайну! Так, кажется, просто сказать, что хочешь,— нет, не можете. Что-то видите, что-то слышите, что-то чувствуете, а что именно, не скажете или скажете неточно, приблизительно, невпопад. До чего же вы любите говорить приблизительно, ходить вокруг да около. Ах, боже мой... А ты спрашиваешь: как? Когда ты встанешь на мое место и будешь знать то, что знаю я, тогда лишь ты по-настоящему поймешь, как слаб сейчас и немощен. Вот так. Если ты и впредь собираешься писать — дело твое, но только не ходи никогда дальше своих сил.

Виктор проснулся от странного и длинного скребущего звука — будто теплоход терся обо что-то бортом. Он прислушался: нет, теплоход двигался, его мерные и частые, подхватывающие друг друга толчки чувствовались отчетливо. Сквозь изогнутые под углом деревянные пластинки на поднятой в окне решетке играло на полу таким же тонко разлинованным рисунком солнце. В каюте было свежо и прохладно — значит, утро еще не нагрелось. Шел всего седьмой час.

Снова протянулся из конца в конец тот же непонятный звук, но уже слабей и выше, с глухим перестуком. Зевая и морщась со сна, Виктор поднялся с постели, опустил вниз и с трудом закрепил на задвижки срывающуюся решетку и вдруг отшатнулся: перед его лицом, едва не задев, подпрыгнула и исчезла грязная острая ветка. Впору было перекреститься: теплоход двигался по лесу. Мимо, царапая ветвями борт и оставляя на палубе сучки, проплыли две стоящие рядом березы, потом показалась верхушка сосны, потом снова береза.

Виктор торопливо оделся и вышел на воздух. Теплоход пробирался внутрь какого-то неведомого широкого залива, с берегов которого далеко в воду уходили деревья. Они торчали и впереди и сзади. Первое впечатление двоялось и подменялось; неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину.

Впрочем, фантастическую ли? Деревья были голые и жалкие, без листьев, с редкими, скатавшимися иголками хвоя, с набухшими от воды осклизлыми ветками, с черными, похожими на гусениц, сережками на березах. Одни еще держались прямо, другие уже клонились, их потихоньку вымывало. На них, подпрыгивая, насккивала волна, и тогда они с хлюпающим стоном качались, натягивая и без того ослабшие корни, качались, как плавуны, долго и бесильно, без той гибкости и игры, с какой ходит лес под ветром. На березе, стоящей на краю берега, лист был совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила, но дальше, как ни в чем не бывало, толпясь, избегал в гору молодой креп-

кий сосняк, горела под солнцем сочной майской зеленой высокая осина.

После неожиданного в этих безлюдных местах и как бы нарочито приглушенного гудка теплоход приткнулся к голому, необжитому берегу, где на поднятом щите было накорябано название какой-то незнакомой, не существовавшей прежде на реке, пристани. На землю сошли две женщины и направились по дороге в гору. Теплоход тут же развернулся и поплыл обратно, все так же крадась между затопленными деревьями, где булькала рыба. Солнце поднялось уже высоко, стало теплей и суше, разошлись по сторонам и развиднелись дали. По берегу, перелетая одна за другой с елки на елку, с громким карканьем провожали теплоход две вороны, но в их корявом, раскатистом крике не было ничего, кроме любопытства. Навстречу, тарахтя на малых оборотах, как трактор, прошла моторная лодка, в шайке и телогрейке сидел в корме бородастый мужик, в носу лодки валялись мокрые неразобранные сети.

Залив, раздвигая берега, все расширялся и расширялся. Теперь уже плыли по чистой воде, не боясь ни за что зацепиться, и двинулись, набирая ветер, шибче. Просматривая на теплоходе народ, забегали ребятишки. Матросы в тельняшках, покрикивая друг на друга, сустились над чем-то в носу; шаркала веником по палубе молодая женщина в расстегнутом халате; из кухни снизу потянуло запахом разогреваемых шей.

Наконец еще после получаса хода теплоход выбрался из залива и, не сворачивая, направился куда-то к противоположному берегу, который темнел впереди далеко и неясно. Виктор и не представлял себе, как широко могла разлиться вода, и смотрел вокруг с удивленной оторопью, не зная, чему больше поражаться — ленивой ли мощи огромной массы воды, которую теперь называли морем, затопившей тысячи и тысячи гектаров земли, или тому, что все это заранее было загадано и осуществлено с той точностью и уверенностью, которые никогда не поддаются пониманию несведущего в таких делах человека. От реки тут, конечно, ничего не осталось, и даже приблизительно нельзя было указать, где пролегал ее русло: еще ночью, когда Виктор спал, река захлебнулась и утонула во встретившем ее равнодушном разливе. От берега до берега было километров десять, если не больше, потому что вода обычно скрадывает расстояние; на севере, куда прежде уходило течение, земля не смыкалась долго до далекого и низкого горизонта.

Вода казалась неподвижной и серой. Бревно, оставшееся за кормой, не смешалось в сторону, а только отдалялось от теплохода; и высокое, почти прямо стоящее солнце не могло проникнуть внутрь, освещая лишь мутное и блеклое колышание. В ней уже не было причудливой игры синей и зеленой красок, живой и волнующей неустанности в красоте и радости свершающегося движения, омутного, темного, бутылочного сияния глубины, и чистой, со стеклян-ным звоном, музыки на перекатах, и волнистых поперечных дорожек от впадающих с силой горных ре-

чек, и гордого, манящего к себе вида островов — всего того, что еще только вчера несла с собой река. Из края в край вода лежала покорно и глухо одной необъятной равниной, подавляя своей тяжестью унылые и низкие берега. Воздух над ней был пуст, не носились в нем стрижи со свистящим, отрывистым звуком, не заливались ласточки, не собирались они в дружные, гомонящие — хоть уши затыкай! — стаи, чтобы отогнать ястреба. Зато, как знал Виктор, появились чайки, стали прилетать откуда-то большие, невиданные прежде в этих местах орлы — море, какое бы оно ни было, постепенно обзаводилось своей жизнью.

Теплоход между тем приближался к большому, стоящему, видимо, на вырубке селу: ниже улиц густо желтели круги пней. Среди старых, почерневших изб много было новых, срубленных совсем недавно; их красноватые, с потеками от запекшейся серы стены пылали под солнцем ровным налитым жаром; крутые тесовые крыши висели легко и весело, готовые, казалось, оторваться и улететь. Несколько домов стояло и совсем богато: под шифером — неслыханная раньше роскошь! В парадниках уже прижились рябина, березки, елочки. Кое-где на улицах остались от леса и сосны, но, как всегда в соседстве с человеком, они изо всех сил торопились подняться вверх и торчали голо и бедно, с неказистыми ветками на макушке.

Со всех сторон этого села к пристани торопились люди. Трепали мотоциклы, вилля из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать пни и все-таки прыгая по ним; затеяв отчаянную возню, носились по берегу собаки; две коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходящий теплоход пристально и очумело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, косясь на незнакомое голосистое чудовище; за пряслон, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову огородного пугала петух и загорлопанил с бурлацкой откровенностью, внося свой вклад в общее оживление. И ребятишки, ребятишки, которые, как горох, сыпались из каждой щели. Какой-то карапуз, сверкая рыжей головенкой, не поспевал за растянувшейся цепочкой детей постарше и от обиды ревел на бегу, но никто не обращал на него внимания, все неслись как угорелые. Наконец, запнувшись, карапуз упал и зашелся в крике, зовя кого-то, — и дозволял: такая же рыжая, как и он, девочка лет семи или восьми, бежавшая впереди, быстро развернулась, подскочила к мальчишке, торопливо и зло отшлепала его и снова помчалась дальше. Он тут же вскочил и кинулся за ней — удивительно и непонятно было, как мог он бежать и одновременно, не прерываясь, кричать столь громко и требовательно, заглушая своим ревом все остальные звуки.

Вот так же когда-то и маленький Витька, как эти ребятишки, мчал со всех ног к первому пароходу и, не зная, что с собой делать от радости, готов был лезть в воду и тонуть. После того лишь и наступало по-настоящему лето, как из-за Верхнего острова появлялся знаменитый в те годы «Лейтенант Шмидт», вечно заваливающийся на один борт пассажирский

колесник, и издавал протяжный приветственный гудок. О, что тут творилось, какая подымалась суматоха! Хлопали двери, калитки, ворота, с единым многоголосым воем, разбрызгивая по сторонам всякую мелкую живность, вроде куриц и поросят, неслась по улице детвора. Кто-то палил из ружья, кто-то, забравшись на колхозный амбар у пристани, размахивал содранным с сельсовета флагом. Тарахтели телеги, ржали разгоряченные кони. Все, что только могло ходить, выплескивалось на берег. Не помеченный красным числом, не сдабриваемый выпивкой, не отпущенный на отдых, это был праздник, который ждали ничуть не меньше, чем любой другой. Да и потом уже, позже, всякий раз как прийти пароходу, на пристани собиралась толпа, до полуночи и больше, если он опаздывал, жгли костры, но не расходились. Матеря, слышав гудок, туркали ребятишек: «Беги скорей, посмотри, кто к кому приехал, да гляди не перепутай».

Что и говорить — летом деревня оживала. Наезжали гости, привозили подарки, да и сами деревенские изредка позволяли себе сесть на пароход и отправиться куда-нибудь по делам и заботам. Добирались сюда с экспедициями и совсем чужие, незнакомые люди из больших, по-чудному звучащих городов, которые, оказывается, действительно существуют на свете, а не придуманы только в книжках (одно лишь название своей деревни представлялось понятным и вечным, словно с нее и пошла земля, остальные почему-то походили на шуточные, несерьезные, которым то ли верить, то ли нет). А кроме того, всегда интересно было просто смотреть на пассажиров, стоящих на палубе в забавных, невиданных одеждах, и представлять себе, что и ты когда-нибудь несколько не хуже их возьмешь да и покатишь куда-нибудь, куда твоей душеньке будет угодно.

Но проходило лето, подступала зима. И — боже мой! — как тоскливо и горько — хоть плачь! — становилось на душе, когда последний пароход исчезал все за тем же Верхним островом, а вслед ему задувала холодная, с дождем и снегом, низовка; печальная, сиротливая деревня оставалась одна-одинешенька на всем белом свете со своей неказистой судьбой, на долгие месяцы в терпении и надежде оставалась ждать следующего лета. И снова жгли костер, но он был прощальным, и вокруг него стояли молча и подавленно, грея руки и спины, снова кто-нибудь палил из ружья, но от выстрелов этих еще больше сжималось сердце.

Но и зима проходила. Поверите ли, из-за Верхнего острова опять появлялся «Лейтенант Шмидт»...

Под шум, гам, треск, лай и вой всего, что собралось на берегу, теплоход ткнулся носом в дно на довольно почтительном расстоянии от земли и замер. Стало ясно, что пристать здесь не просто: берег низкий, дно высокое, вода держится только поверху. Отгребаясь, теплоход сдал назад и попробовал сунуться в другом месте — то же самое. После четырех безуспешных попыток подойти ближе, на которые

ушло почти полчаса, когда толпа на берегу не переставала подавать советы, один лучше другого, капитан, потеряв терпение, крикнул наконец сверху «стой!», и теплоход застыл, оттянув на всякий случай корму в море. Автоматический трап, красиво развернувшись в воздухе, не достал до земли даже наполовину; по трапу, повисшему в пустоте, полез матросик, волоча за собой стремянку, но и ее оказалось недостаточно. С берега матросику толкнули доску, потом сбегали еще за одной — с большим трудом переправа была все-таки наведена, хоть и непрочная и дырявая, потому что в стыке доски и стремянки плескалась вода.

И тут же на теплоход ринулись мужики. Матросик пытался остановить их, срывающимся тонким голосом кричал, что сначала надо выпустить приехавших, но, оказавшись в воде, сразу притих и стал заворачивать наверх свои мокрые штанины. А мужики все перли и перли — весело и отчаянно, и все налегке, без вещей, от посадочных талонов, которые им пытались вручить у трапа, они отмахивались и бегом, громыхая сапогами, один за другим бросались куда-то внутрь.

— Васька-а! На меня не забудь. Васька-а-а! — надрывался кто-то с берега.

Впереди толпы Виктор увидел и своего знакомого — рыжего карапуза лет четырех, который перед тем с шумом и приключениями добирался до пристани. Лицо у него было конопатое, в крапинках, слезы давно высохли, и он, бороздя обутыми на босу ногу сандалиями воду, в которую, наверно, и сам не помнил, как забрел, смотрел на теплоход и на всю связанную с ним суету с внимательным и серьезным удивлением. Сзади, не предупреждая, к нему подскочила все та же похожая на него, скорая на расправу девчонка, без всякий объяснений шлепнула его и как ни в чем не бывало, не переставая что-то возить во рту, вернулась к своим подружкам. Мальчишка дернулся, но смолчал. Более того — он понял назначение этого шлепка, неторопливо отцепил с ног сандалии и кинул их на берег. Без них он почувствовал себя даже лучше и уже смело стал бродить туда и обратно перед теплоходом, пока не взобрался на затопленный пень. Потоптался, потоптался на нем и решил сесть, но только успел окунуть в воду место, на которое обычно садятся, как к нему опять проворно метнулась девчонка, имевшая на него какие-то особые права, и снова быстро и ловко, с заученным механизмом размашистого движения, нашла этому месту свое привычное применение — с сочным и аппетитным звуком. Но и тут мальчишка догадался, что к чему, и сразу принялся стаскивать с себя штанишки.

— Гринька, паразит, — жующим говорком предупредила его девчонка, — если ты еще рубаху сымешь, я тебя утоплю — так и знай.

Снимать рубаху Гринька не решился. Зато после некоторого раздумья он приподнял свой открывшийся всему белому свету отросточек и, направив его в сторону теплохода, стал булькать в воду. Кончив, согнулся всем телом, вздохнул таинственно и пе-

чально и сел, как до того собирался, на пень под собой, погрузившись в воду по грудь и, конечно, замочив последнее, что на нем осталось, — рубашку.

Теплоход загудел и за длинным гудком дал сразу все три коротких. И посыпались, посыпались обратно на берег поразбухшие мужики, позвякивая бутылками, натолканными в сетки, сумки, в карманы, за пазуху — всюду, где их можно было пристроить. Теперь объяснилось, что вело их на теплоход в одном страстном и могучем порыве; словно пытаюсь оправдать их, Виктор вспомнил, что сегодня воскресенье. Парень в синей спортивной майке с длинной единицей на спине, взбурывая огромные волосатые руки, вынес ящик пива, осторожно опустил его на землю в сторонке от толпы и, не обращая внимания на подскочивших к нему дружков, которые радостно хлопали его по спине, принялся сбивать первую пробку. Рослая и здоровая, молодая еще женщина с ленивой деревенской красотой молча гонялась за юрким плюгавеньким мужичонкой. Вертясь от нее в толпе, он успевал незаметно опускать в заботливо подставленные карманы прозрачные бутылки с простой и выразительной наклейкой. Одним словом, к тому времени, когда капитан подал команду сниматься, жизнь в этом поселке уже обещала интересное продолжение.

Теплоход не без труда оторвался от земли, поплыл, трап, переламываясь посередине, поплыл вверх, но тут выскочили откуда-то еще два мужика, кинулись к трапу и, хватаясь руками за трос, полезли по нему, так что трап пришлось выпрямлять, потом, как с вышки, покачавшись на его пружинящем конце, под смех и крики с той и другой стороны бухнул в воду. Третий мужик торопливо и нервно, со свистящим выдохом, перебрасывая бутылки на берег. От них шарахались, разбегались, затем снова смыкались, чтобы поднять, но две бутылки, угодив о пни, разбились. Освободившись от груза, мужик бросился за борт и сам, но ему понадобилось уже подгребать, прежде чем удалось встать на ноги. Мало того, был еще кто-то и четвертый, невидимый Виктору сверху, потому что люди на берегу, приплясывая, кричали:

— Прыгай! Прыгай! Петро, прыгай!

— Та я ж плаваты не могу, — с мягким хохлацким выговором отвечал им этот Петро.

— Тогда бутылку бросай! Бутылку!

— Та вы ж выпьете.

— Ну, Петро, — громко терзал его чей-то женский голос. — Задаст тебе Анка, как приедешь. Она тебе задаст — о-е-ей! Она тебе что говорила? Ты ей что говорил?

— Анке скажите, чтоб блюла себя. Скажите, что скоро прииду.

— Она тебе поблюдет. Ты сам-то себя как блюдешь?? Ты ей что говорил?

— Петро-о! — вдруг возопил кто-то громче всех через сложенные рупором ладони. — Держись, Петро, я тебя выручу. Я за тобой сейчас помотаю. Слышишь, Петро?

— Слышу-у. Выручи, Семен.

Семен на берегу рысцой побежал к стоящим длинным рядом справа от пристани лодкам. Слышно было, как там зазвенела цепь, потом зачихал и частой дробью зашелся мотор. И вот уж Семен в красной полосатой рубашке достал на своей лодке теплоход, пристроился сбоку.

— У тебя, Петро, деньги с собой есть? — спрашивал он.

— Та есть маленько.

— Ты на меня там штуки две или три возьми. Хватит у тебя? Мне только до дому, я отдам.

— Та хватит.

— А я тебя выручу. Мы с тобой, как штык, сегодня же обратно будем. Твоя Анка раскипятится не успеет, а мы уж тут.

Виктор сошел вниз, к расписанию. До следующей пристани было больше сорока километров, два часа ходу. Когда он снова поднялся на палубу, лодка Семена уходила с заданным носом в сторону от теплохода, выбрав свой, видимо, более короткий путь, а сам он, накрывшись от ветра и брызгающей воды не то плащом, не то куском брезента и низко склонившись в корме, походил на большую нахохлившуюся птицу. Но примерно через час Виктор услышал из своей каюты, как хриплый, простуженный голос звал:

— Петро! Петро-о!

Виктор выглянул: лодка Семена опять шла сбоку, впереди волны, а Семен сидел в совсем мокром и дырявом плаще и, вытягивая шею, продрогшим басом выводил:

— Петро-о! Где ты, Петро-о?

Затем лодка, отстав, исчезла, и голос сдавленно донесся с другой стороны:

— Петро-о!

Но Петро не отзывался.

К пристани Семен поспел раньше теплохода. Спустили трап, и он сразу встал возле него с блуждающей и застуженной, еще не отогревшейся улыбкой. Стали выходить пассажиры — две старушки, одной из которых помогал матрос, женщина с ребенком и солдат. Последним, держась обеими руками за трясяные поручни и все равно сильно шатаясь, спустился невысокий, хорошо сбитый мужик со стриженной под машинку головой, на которой только у лба болтался узкий, как ленточка, светлый чубчик. Лицо Семена на мгновение вытянулось, затем улыбка разошлась на нем еще шире. Он подхватил мужика под руки и, что-то быстро и весело говоря ему, повел к лодке. С трудом усадив его в носу, Семен что-то спросил. Мужик кивнул. Семен сказал что-то еще, после чего мужик полез рукой в карман, долго возился там и наконец вытащил бутылку. Виктор, наблюдавший за ними, сразу понял, что это не та бутылка, которую ждали, что в ней скорей всего фруктовая вода. Семен с брезгливой осторожностью взял ее в руки и снова что-то спросил. Мужик покачал головой и для пущей убедительности похлопал себя по карманам. Семен долго смотрел на него, надо полагать, до бесконечности призывательным взглядом и, припечатав одно из тех коротких и веских слов,

которым нет и не может быть замены в русском языке, с силой хлестанул бутылкой о край лодки.

Эх, Семен, Семен, чудак человек...

После обеда Виктор впервые увидел чаек. Две птицы летели за теплоходом с красивой и важной медлительностью, держась рядом, плавно и торжественно двигая длинными крыльями. Сияло солнце, но небо побелело и подул встречный ветер, который, казалось, загибал и сносил солнечные лучи, путал, куда им упасть, поэтому возникало ощущение, будто греешься чужим теплом. По морю заходили волны, взбивая пену, и чайки, садясь на воду, сразу терялись в ней. Сиделись они часто, как только долетали до какой-то определенной черты, которую не хотели переступить, чтобы не оказаться к людям ближе, чем это положено. Затем всякий раз издали доносился горланый крик, и чайки, как под команду, одновременно взмывали.

Берега по сторонам были все так же унылы и однообразны. Солнце мало веселило их. Лес, не затопленный водой, чудом спасшийся от смерти на кромке своего счастья, словно бы не до конца верил в это чудо и ждал для себя какой-то новой беды. Выглядел он неопрятно и запущенно, со случайно торчащими в одном месте деревьями, спрятанными прежде в тайге и не готовыми к тому, чтобы стоять на виду. Да и берега как такового, как линии между водой и землей не было, за одним сразу начиналось другое, и даже более того — не успевало кончиться одно, заступало другое. Нигде еще, сколько сегодня плыли, не видел Виктор ни каменишника, ни песку, очерчивающих эту границу, нигде не возник перед глазами яр с красками глины и камней в стене, с аккуратно выложенным красным плитняком подножием. Когда-то теперь все это установится, отстоится, придет в порядок и красоту.

Но иногда вдруг появлялись поля, и сразу отходило на душе. Этот небольшой просвет в заунывной синеве чащи был как желанный отдых посреди долгого и утомительного пути. Где-нибудь на краю поля чисто и бело теплилась березовая роща, дальше, где (он знал на память) даже тени светились отраженным сиянием, прозрачной зеленью курились кружочки полян. И так хотелось перенестись туда, уткнуть голову в траву, на которой замысловатыми кружевами сквозь листья деревьев играет солнце, и уснуть, оглушенному цырканием кузнечиков и важным, державным шумом верхового ветра.

Но, развернувшись, поле исчезало, и опять наплывал сырой и сумрачный лес, платящий бесконечной тоской за то, что, не спросясь и не подготовив, его вывели на передний план.

Вода разошлась еще полней, умножившись в воды; ее слепой могучий разлив вызывал какое-то неопределенно-зыбкое, словно миражное чувство удивления и растерянности. С глухим гулом возились волны, едва намекая на скрытую внутри силу, по волнам ходили яркие и резкие блики падающего солнца, в холодном ветреном мареве дробились бе-

рега. Далеко справа прошла навстречу самоходная баржа, груженная лесом, с нее доносилась музыка, и видно было, как на веревке треплется белье. Длинным усталым звуком свистел в пустом воздухе ветер, ищущий преграды и забавы. И такой же продолговатой впадиной, в которой лежало море, как верхняя прозрачная створка, висело невысокое вытянутое небо.

Строгая и по-своему красивая картина. Только все в ней было как-то просто и ясно, как в сколоченном собственными руками ящике, которым можно гордиться, но в котором знаешь каждый сучок. Не витал в поднебесье над этими многими водами чистый и ветхий дух тайны, заставляющий в детском изумлении перед красотой вопрошать ежедневно и ежечасно: как, зачем, с каких пор, откуда это взялось и продолжает браться? Перестала трепетно и пламенно, обмирая от глубины, биться душа над пропастью времени, и ушло, закрылось прочной крышкой ощущение вечности. Все здесь было понятно — и как, и зачем, и с каких пор, и с какой целью.

Ветер натягивался, смелел, покачивало уже не на шутку. Но чайки все так же, то садясь, то снова взмывая, продолжали лететь за теплоходом. Только крылья их стали как бы короче и махали они ими чаще, с видимым усилием преодолевая ветер. Но что-то, какая-то важность, какой-то смысл заставляли их все лететь и лететь.

Виктор попробовал читать и не смог. С тех пор как он сам начал писать, чтение перестало доставлять ему обычное удовольствие, когда спокойно и доверчиво следуешь за автором всюду, куда его понесет, когда происходящие в книге события и участвующие в них персонажи воспринимаются как случившаяся реальность, независимо от того, нравятся они или нет. И отношение к литературе легко вмещалось прежде в три довольно категорических измерения: хорошо, плохо, так себе. Теперь же появился чисто профессиональный интерес. Ох, уж этот профессиональный интерес... ни дна бы ему, ни покрывки.

До чего было просто раньше и до чего трудно сейчас — будто ты находишься на постоянном дежурстве и не хочешь, да видишь, как ерзает, а то и бьется в мучительных судорогах неправильно поставленное слово, как беззастенчиво хихикают или ауют посередине серьезного разговора, потому что им делать тут нечего, пустые, ненужные фразы, как врет, соловьем заливается во лжи какой-нибудь положительный герой, купаясь в громких и почтенных словах, словно в мыльной пене, в то время как он, по мысли автора, должен произносить правду, правду и одну только правду, как вся книга руками и ногами бьет, требуя, чтобы ее читали, и вопя о книжном равноправии, хотя пользы от подобного чтения нет и не может быть. Видишь, понимаешь и не можешь вмешаться — ни помочь, ни одернуть, ни пристыдить. Уж лучше бы не видеть и не понимать. Вся штука в том, что хорошая книга, как и плохая, создается из одного и того же материала, из одних

и тех же слов, расставленных, правда, в ином порядке, звучащих в иной интонации и благословленных иным перстом.

Но от хорошей книги, благодаря все той же профессиональной разборчивости, тоже нелегко. Когда при обыкновенном слове «застонала» ты содрогаешься от боли этого стона, когда при названии краски ты ясно различаешь ее оттенки и ощущаешь ее запах, когда ты собственными ушами слышишь звук падающего в книге с дерева яблока и плачешь при встрече двух людей, придуманных фантазией автора, ты пытаешься понять, каким образом все это было достигнуто, какой живой водой окроплено, ты снова и снова перебираешь слова, следуя по ним, как по ступенькам бесконечной лестницы, пытаешься проникнуть в их удивительную тайну, заставляющую их звучать, пахнуть, светиться и волновать. И ты все видишь, потому что в книге трудно что-либо скрыть, всю вязь слов, музыку их, обозначенную ноту за нотой, стыки между фразами и паузы между мыслями — все видишь и тем не менее ничего не понимаешь. Отчаявшись, ты откладываешь книгу и бесильно закрываешь глаза, ненавидя себя за беспомощность, бесталанность и за все остальное, что с этим связано.

Но без книг нельзя. И ты, конечно, читаешь, но, господи, какая это трудная, нервная и бесконечная работа!

Последние часы перед прибытием были особенно тягостны. Ветер к вечеру поутих, волна спала, море еще колыхалось, но как-то лениво и бессмысленно, больше напуская на себя морской форс. Небо выстоялось и посинело, солнце сходило под уклон чистым, ровно горящим кругом. Чайки за кормой уже и не летели, а плыли в воздухе, изредка вздрагивая крыльями. Что вело их за теплоходом — красота ли его или что другое? С вязким, замедленным звуком шумела за бортом вода, вяло трепыхался наверху флаг, утихли по своим углам ребятишки, весь день с нарочитым, громким топотом бегавшие по гулкой палубе, — все вокруг выравнивалось в общем большом ожидании всякого разного: темноты, отдыха, пристани, новизны.

Прежде Виктор наизусть знал места, мимо которых сейчас плыли. Начиная с пятого класса он учился в райцентре, в пятидесяти километрах от дома: ближе средней школы тогда не было. На зимние и весенние каникулы добираться в деревню много раз приходилось пешком — машину за ним, конечно, никто не посылал, а попутки в эту сторону выпадали редко, а если и выпадали, то недалеко. Сейчас и самому с трудом верится: 12-летним мальчишкой он за день отмахивал все пятьдесят километров. Шел и вел свой счет: десятая часть дороги позади, шестая, четвертая, третья... стараясь обмануть себя и оставить впереди поменьше километров, чтобы потом, когда он совсем устанет и будет двигаться медленно, они таяли сами собой.

Но теперь он ничего не узнавал. Даже по заливам вдоль речек, по распадкам невозможно было определить, где и что. Все сошлось и размылось

в одной длинной и отчужденной картине тайги. Что удивительного: он ходил тогда не по чаще — по дороге, а дорогу ту унесло водой. Приходилось ориентироваться только по времени, указанному в расписании.

Оставалось час, полчаса, затем и того меньше.

Пора было собираться. Виктор уложил чемодан и в последний раз выглянул в открытое окно. Теплоход заметно прибывался к берегу, который по-прежнему был заперт глухой стеной леса. Даже тут, на подступах к родной деревне, ничто не отзывалось сердцу, бившемуся в сладостном и тревожном волнении, ничто не откликалось на его зов, словно Виктор ехал сюда впервые.

— Как ты мог?! Как мог?! Как тебе не стыдно?! — вдруг услышал он быстрый, срывающийся голос и, обернувшись на него, невольно, чтобы не выдать себя, отшатнулся. Он ожидал там увидеть кого угодно, но только не их, не этих до бесконечности счастливых вчера друг другом людей, за которыми Виктор наблюдал сначала в ресторане, затем вечером на танцах, любви, согласию и открытой нежности которых завидовал с шемящей и печальной ревностью. Что-то у них случилось. Жена с пылающим от злости, резко очерченным лицом подступала к мужу — тот, морщась, отмахивался:

— Перестань. Надоело. Иди в каюту, не кричи тут.

Рядом в спокойном ожидании, словно подобные сцены для них были не в диковинку, стояли похожие на близнецов мальчик и девочка.

М-да, хмыкнул Виктор, вот еще лишнее доказательство того, что любое счастье недолговечно. И все же он расстроился. Неужели они не могли потерять пятнадцать, меньше — десять, пять минут, чтобы он успел уйти и ничего этого не узнал, чтобы в его памяти они навеки остались прекрасной и надежной, потому что он сам был ее свидетелем, легендой о неумирающей любви в одном человеческом гнезде. Дураки и еще раз дураки. Не будут обманывать людей и пользоваться их доверчивостью — так им и надо.

Он попрощался с проводницей, которая пришла, чтобы вернуть ему билет, и спустился вниз. В проходе по правому борту уже толпились с вещами пассажиры. Виктор встал с краю, у барьерчика, так, чтобы видеть берег. Далеко впереди показались штабеля леса, перед ними широким рукавом уходил в тайгу залив. И сразу, как только оттянулся назад гребень горбатого мыса, открылась площадка, к которой сбегали люди, и за деревьями засветились крыши домов. Теплоход дал гудок и круто повернул к берегу.

И странно, Виктор еще не сошел с теплохода, а тот для него уже не существовал, он как бы отдался, померк. В душе была звонкая горячая пустота: от одного состояния он уже отказался, другое еще не наступило. И гулко и нетерпеливо стучало в голове, выдавая волнение. В толпе, собравшейся на берегу, он стал узнавать знакомых, среди ребятишек отличил своих племянников, двух светлоголовых, ко-

ренастых мальчишек, на лицах которых, как и у него, явно проступало далекое, но непобедимое из рода в род тунгусское происхождение. В сторонке, надвинув, как всегда, кепку на глаза и засунув руки в карманы, стоял отец. К нему подскочили племянники, стали что-то наперебой говорить и показывать руками на теплоход — отец встрепенулся и пошел ближе, туда, где уже опускался на землю трап.

— Что ж ты не написал, — радостно и быстро заговорил он, когда Виктор сошел и они поздоровались. — Мы и не ждали. А мать-то, мать-то сном-духом не чает. Ну, сейчас засуетится.

Виктор похлопал по спинам племянников и, перед тем как уходить, оглянулся на теплоход. На палубе, как раз напротив его каюты, прямо и неподвижно, но уже одна, без мужа и ребятишек, стояла все та же женщина из обманчиво-счастливой семьи. Ее отрешенное, горько-торжественное лицо было обращено куда-то в пустоту, глаза смотрели оцепенело и невидяще. Виктор поискал в себе и не нашел ни жалости и ни сочувствия к ней: на счастье и на несчастье одинаково надо иметь двери, а не выставлять их напоказ каждому встречному.

— Ну, пойдем, что ли? — заторопил отец.

— Пойдем.

За разбитой тракторами, широко растянутой дорогой они взяли влево и пошли через оставшийся у берега кусок леса. По обглоданным и примятым кустам голубицы и жимолости Виктор узнал его: тропинка к ягоднику начиналась прежде у кладбища и недалеко отсюда сходилась с дорогой на елань. Вон куда поднялась вода: до старого берега здесь было никак не меньше двух километров — да еще в гору. Где-то тут же, он помнил, стояла тогда пустошка из молодого, на редкость густого ельника, сквозь который продаться можно было только чуть ли не ползком и в котором высыпали самые первые рыжики. Виктор осмотрелся, но пустоши, конечно, не нашел. Среди деревьев бродили телята, рылись свиньи, почему-то все пятнастые, похожие одна на другую; вышагивали, высоко поднимая ноги, курицы.

Впереди, прыгая через коровьи лепешки и вспугивая с них больших зеленых мух, бежали племянники. Старшего звали Санькой, имя младшего Виктор забыл: когда он приезжал сюда в последний раз, тому было года полтора, он едва-едва переваливался на своих коротких, невероятно кривых ногах, которые у него постоянно норовили заплестись. Сейчас ноги как будто выпрямились, по крайней мере, до вполне допустимой нормы. Отец шел сбоку; Виктор заметил, что походка у него стала совсем стариковской, тяжеловатой, он двигался, приседая больше обычного, как бы скрадывая кого-то и выклинаясь вперед. В прошлом году у него замкнулся шестой десяток — не шутка.

— Надолго приехал? — осторожно спросил отец.

— Не знаю еще. Поживу.

Он и в самом деле не мог сказать ничего определенного. Как получится, загадывать сейчас не стоит. Лето у него было свободно, и он втайне надеялся, если все пойдет хорошо, полностью провести

его здесь, поработать и отдохнуть. Через месяц у жены отпуск, и тогда они с сыном, очевидно, тоже приедут сюда — на чистый воздух, на парное молоко, на свежую зелень и ягоды. Виктор поможет отцу с матерью накосить сена и дождется августа, когда полезут грибы, — он не знал большего душевного удовольствия, большей радости, чем выйти с корзиной сразу после утренней росы в лес, в те особые, хорошо известные ему заповедные места, которые облюбовали рыжики или грузди, и, нацелившись, насторожившись, в подступающем горячем азарте уже с опушки сделать первый широкий огляд.

Они вышли на улицу и стали подниматься по ней вверх. Виктор с интересом осматривался. Какая уж тут деревня — перед ним был большой рабочий поселок. В ту и другую сторону несколькими длинными порядками уходили ряды домов, всюду дымила труба какого-то явно производственного назначения, под ней краснело приземистое здание кирпичной кладки.

— Сколько же у вас теперь здесь улиц? — спросил он у отца.

— Улиц? — загибая пальцы, отец стал считать. — Внизу — Набережная, у поля — Нагорная, где школа стоит — Школьная. Наша — Криволучкая, тут из Криволучкой деревни больше живут. А еще есть Почтовая — по почте. Пять или шесть. Сначала каждая деревня своей улицей строилась, а теперь все перепуталось.

— И много всего народу?

— А шут его скажет. Я, почитай, половину не знаю. Хозяев еще знаю, кто своим домом живет, а тут теперь полно вербованных. Эти сюда едут, обратно бегут, их не упоминаю.

На тротуаре везде лежали собаки. Они лениво приподымали головы, смотрели навстречу задумчивым, оценивающим взглядом, но с места не двигались, и их надо было обходить. Коровы захватили мелкие, запущенные канавы вдоль тротуаров. У ворот стояли люди, вышедшие посмотреть, кто пройдет с теплохода; Виктор здоровался со всеми подряд, знакомыми и незнакомыми, ему отвечали и спрашивали у отца:

— Сына, значит, дождался, Степаныч?

— Дождался, — говорил отец.

С одной улицы они свернули на другую, перешли на противоположную сторону. Отец приостановился:

— Узнаешь?

Нет, он не узнал свою избу и, будь один, наверное, прошел бы мимо. Она показалась ему теперь совсем маленькой и старенькой, с полуслепыми, как в зимовье, окошечками, с почерневшими, потрескавшимися бревнами в стенах и слепо торчащими неровными углами. Но это была она, и теплое и горькое чувство благодарности и вины нахлынуло на Виктора и сжало его сердце.

— Что это вы гостей не встречаете? — крикнул отец.

— Каких гостей? — услышал Виктор испуганный голос матери из сеней и побежал на него.

Через час уже сидели за столом. Собрались все свои: отец, мать, дядя, или, лучше сказать, Николай, брат отца, которого Виктор дядей никогда не называл, потому что тот был старше Виктора всего на каких-то пять лет и у них давно уже установились простые и приятельские отношения; жена Николая — Настя, женщина удивительно спокойная и добрая, с чуть тяжеловатым от излишней доброты лицом; их ребятишки — Санька и Генка, встречавшие Виктора на пристани и неожиданно оказавшиеся вовсе никакими не племянниками ему, а двоюродными братьями; Галина, по родственному узелку тетка Виктору, которую он теткой тоже не называл, хотя она была старше Николая; Галину раньше знал весь район, она получила орден за колхозный огород, а теперь, оказывается, работала уборщицей в школе. Бабушка к столу не пошла, осталась сидеть у себя на кровати, куда ей подали чай, и она пила его вприкуску с пиленым сахаром, привезенным ей Виктором из города, и внимательно прислушивалась к разговору, изредка вступая в него и опять умолкая, чтобы заняться чаем.

Отец разливал водку и рассказывал, как Санька с Генкой первыми увидели на теплоходе Виктора и побежали к нему, а он долго не мог понять, о чем они трещат, потому что никто сейчас Виктора не ждал.

— А я знала, что он в этом году приедет, — заявила мать. — Может, на первый пароход не надеялась, а вообще все равно знала.

— Откуда ты знала?

— Оттуда. Знала и знала.

Она сильно постарела и сгорбилась, и Виктор смотрел на нее растерянно, с нежной и печальной недовольностью: неужели это она, его мать? Что с ней случилось? Да и отец тоже... У отца за ушами появились глубокие впадины, обозначив череп, голова выглядела по-детски маленькой, сухое лицо полностью исчертили морщины. И только бабушка, казалось, не изменилась, словно ей стариться дальше было уже некуда и она уперлась в какую-то последнюю невидимую черту, за которой на этом свете нет продолжения. Виктор поймал себя на том, что испытывает к этим родным, самым близким ему людям странное чувство любви и отчуждения, сопротивления им, их старости, их движению в извечную человеческую сторону, куда на невидимой и молчаливой неослабной цепочке они невольно тянут и его. И уж мерещилось, верилось ему, что он приехал сюда только затем, чтобы понять, как далеко он продвинулся вслед за ними, где, на какой отметке теперь находится, и попросить, уговорить их, чтобы они не торопились.

Разговор больше всего шел о старой деревне, о том, кто куда из нее уехал, как сложилась их судьба. Вспоминали колхоз, в котором жили бедно, но весело и дружно, вместе сходились в рабочем азарте, когда подступала страда, и вместе сходились в обмане, утаивая сотни от налогов, когда приезжал кто-нибудь переписывать огороды, или ссылаясь на болезни, когда дальше тянуть с личным сенокосом

было нельзя. И, разбереженная, растравленная воспоминаниями, всхлипнула Галина, пожаловалась:

— При колхозе я хоть человек была, а теперь...

— Ну и ехала бы с колхозом,— сказал Николай. Она с неожиданной злостью огрызнулась:

— А ты почему не поехал?

— Мне не надо. Мне и здесь хорошо.

— Ну и мне не надо. Куда я от своих? Хотя моя судьба такая была: на земле работать, а не грязь за ребятишками каждый день подтирать.

— Ага,— вдруг громко и радостно заговорила бабушка с кровати — радостно потому, что вспомнила, не забыла вставить кстати. — Вон Лукея уехала и году не прожила. Это как? А если бы ее не трогали? — И уже очнувшись, отрезвевшим голосом, с болью и стоном сказала, обращаясь к одному Виктору: — Померла ведь Лукея-то, царство ей небесное, померла. Все, сказывают, тосковала, обратно просилась. Тут хоть елань своя, а там все до капельки чужое. Она и не вынесла. Сильно, сказывают, плакала перед смертью.

— А как вода поднималась? — стал спрашивать Виктор. — Сразу или как обычно прибывала после дождей?

Они помолчали, собираясь с воспоминаниями и медленно погружаясь в то недалекое, но важное, переломное для всех для них время, когда это случилось.

— Ты думаешь, валом? — заговорил отец и покачал головой. — Нет. Но ходко. — Он еще помолчал. — А я перед тем все спускался туда. На бережку посижу, по улице, где избы стояли, пройдусь...

— Тинуло,— подтвердил Николай. — Я тоже ходил. Она ругается,— он кивнул на Настю,— то, се надо по дому, а меня туда манит. Уж знали, что вот-вот будут затоплять. Жалко. Вроде как прощаться ходили. С работы приду, поем — не поем, а уж под гору надо. Воровски убегу и прячусь где-нибудь. Видишь: в одном месте наш бродит, в другом... Дядю Егора Плотникова Мишка каждый день матом оттуда выгонял. Сядет и сидит, ночь — не ночь, он как пристынет.

— Ага,— вскинулась бабушка, слушавшая до того с нетерпеливо-мучительным напряжением на лице. — А мертвых утопленниками сделали — это как? Они уж померли, а с ними все равно не посчитались. Это как?

— Да что уж сейчас про мертвых говорить...

— А пошто не говорить?! Там твоя бабка лежала. Все наши там лежали. А теперь где их искать, под каким берегом?

— Ну вот,— стал продолжать отец. — А в последний раз так было. Только с горы спускаться, гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не удержишь. До дороги добежал, и вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. И лезет, лезет, глазом видно, как лезет. Я прячусь от нее, но смотрю, не убегаю. Сор подняло, какой был, угли, крапиву, лебеду тербит. До избы докатилась, где изба наша стояла,

и воронкой давай крутить — в подполье, значит, кинулась. Пока смотрел, оглянулся, а она уж меня со стороны обошла, уж брести надо. На первую гору за Егоровым огородом залез, вижу, народ из деревни бежит. А сначала один был, никого больше, первый ее, холеру, встретил.

— А мы в тот день на покос ходили,— вспомнила Настя. — Ты был тогда, нет ли? — повернулась она к Николаю.

— А кто с тобой, интересно, еще был, если не я? Может, Степка-казак на нашу корову косил?

— А, был, был. Туда утром ушли — все ничего, обратно к речке подбегаем — батюшки вы мои! — это что ж такое на белом свете дется! Мостик через речку сорвало, он, голубчик, посередине плавает, а вода по траве — ш-ш-ш — так и шумит, так и шумит. Как домой попадать? Полезли мы опять в гору. Далеко-о пришлось обходить, до старой верховской дороги дошли — нигде больше не перебраться. Бегу и боюсь: а ну как все на свете этой водой затопило — и старую деревню, и новую. Он,— на Николая,— на меня кричит: дура да дура. А что дура? Ежели никогда такого не бывало, поневоле испугаешься. Откуда что знаешь? Долго ли ошибиться, кто эту воду пускал. Потом ее разве остановишь? А там ребятишки — конечно, сердце не на месте. В потемках уж на поля высочили — слава богу, живы наши избенки, стоят. А там, где старая деревня была, вода блещит.

— В первый год она только на нижнюю гору поднялась и приостановилась. Прибывала, но так, потихоньку. На другое лето дальше полезла.

— А вот точно все-таки сказали, докуда дойдет. Умеют распознавать. Гришка Суслов огород свой ниже отметки пустил, и пол-огорода затопило.

— Зато теперь рыбы полно,— сказал Николай.

— Много рыбы? — обрадованно переспросил Виктор.

— Много. Только какая рыба: окунь, сорога, щука. Щуки здоровые есть, как бревна. А мясо у ней уже не то, правда что как деревянное, и тиной отдает. У нас их даже свиньям скармливают.

— А харнус, ленок?

— Откуда? Это чистая рыба, и вода ей нужна чистая, проточная. За харюзом теперь надо в верховья Зуя идти. Ходят, есть такие. Если долго проживешь, можно договориться с кем-нибудь. Вот хоть с дядей Егором Плотниковым, тот ни окуня, ни сорожину эту не признает. Ему старую рыбу подавай, чистопородную. А мы уж и вкус ее стали забывать, какой она была. Терешняя есть — и ладно.

— Сколько погостишь-то у нас? — спросила мать. И опять Виктор ответил неопределенно:

— Не знаю. Пока не надоест.

— Рассказал бы хоть, как живешь? Все свои книжки пишешь?

— Пишу.

— И теперь все равно пишешь?

— И теперь пишу.

— А что ругали-то тебя, ничего тебе за это не было?

Виктор заметил, как при последних словах матери все замолкли и насторожились. Галина тихонько, чтобы не брякнуть, опустила на стол ложку и, склонившись над столом, подалась вперед. Во внимательном ожидании замер отец. Настя даже и не цыкнула, а только одернула за рукав Генку, когда тот нехотая завозился на своем стуле. И в голосе матери, когда она спрашивала, чувствовалось напряжение.

— Когда ругали, за что? — не понял Виктор.

— Ну, за писанину-то за эту. В газетке. Нам учитель нарочно газетку показал, чтоб знали. Жива она у тебя, отец?

Отец молча полез в тумбочку и подал Виктору газету.

— Вот, — сказал он, заметно волнуясь. — Там, в конце.

— У нас все спрашивают, уволили или нет, — говорила мать, — а мы и сами ничего не знаем. Я уж всякое передумала. А тут еще бабка наша спокую не дает: что да что тебе за это будет?

Виктор развернул газету и нашел на четвертой полосе небольшую статью о своей последней книжке рассказов. Он вспомнил эту рецензию, появившуюся месяца полтора назад в областной газете, читал ее, но не придавал ей тогда никакого значения. Разве можно всерьез относиться к тому, что тебя упрекают в каком-то излишнем психологизме, в излишнем копании в душах людей, в том, что в твоих рассказах нет явно выраженных положительных и отрицательных героев, а есть персонажи с расплывчатой жизненной философией, которых, не знаешь, можно ли взять себе в друзья. Как будто друзей ищут в книгах и ищут по принципу: кто громче говорит. Рецензия была неинтересной, из тех, что составляются из вечно торчащих наготове услужливых резиновых фраз, имеющих необыкновенную способность годиться по любому поводу, — вот почему Виктор сразу забыл о ней.

— А, это, — улыбнулся он и отдал газету отцу. — Это чепуха.

За столом помолчали. Потом мать недоверчиво сказала:

— В газетке пропечатано.

— Ну и что — в газетке. Там тоже люди работают — значит, как и все мы, могут ошибаться. Меня, конечно, есть за что ругать, но то, что он насобирал тут, — чепуха. — Виктор не знал, как лучше объяснить им все это, и стал объяснять долго и путано. Едва ли его поняли.

— Ты все-таки поосторожней там будь, — сказала мать. — Мало ли что.

Ему ничего не оставалось, как, улыбаясь, согласиться:

— Хорошо, мама.

Эту ночь он спал в небольшом дощатом пристрое к сеним, приспособленном под кладовку. Тут было прохладно, остро пахло затхлой горечью и овчиной, где-то в углу скреблись мыши, и все равно сон его, как в детстве, был полным и глубоким. И проснулся он от утра — от кудахтанья куриц во дворе, от сы-

того, терпеливого мычания коровы, от бодрого и тонкого, доносящегося отдельно, словно по особому каналу, чириканья воробьев, от солнечных лучей, бьющих сквозь щели в кладовку, — проснулся и, вспомнив, что он в деревне, радостно встрепенулся.

Он вышел на крыльцо и постоял там, давая привыкнуть глазам к яркому солнечному свету. Утро казалось удивительным — ясным и чистым, все в нем было на виду и все вызывало волнующее ощущение простора и первозданности, будто только что, час или два назад, на смену прежним выступили свежие, совершенно новые краски. В небе дотлаивали после ночи прозрачные, изогнутые, как крылья, редкие белые облака, мягко всплывало в высоту, наливаясь теплом и страстью, солнце, воздух, нагреваясь, слабел, размыкался и парил, за огородами близко, широким полукружьем вздымался лес, а с другой стороны, за крышами домов, сверкающей под солнцем бездной покоилась вода.

Со двора вышла мать с подойником, оттягивающим руку. Увидев Виктора, мать удивилась:

— Ты куда так рано встал? Ложись еще, поспи. У нас в эту пору только хозяйки поднимаются.

Виктор, по-прежнему шурясь от солнца, улыбнулся и не ответил. Спать он сейчас все равно бы не смог. Утро, раннее по часам, но уже поспевшее, полное, вызывало редкое и пьянящее чувство соучастия в нем, в его скором и счастливо удавшемся наступлении, и от чувства этого, как от всякого доброго дела, становилось радостно и чутко на душе, хотелось нового, столь же большого и необыкновенного дела и нового удовольствия от него.

Сам не зная, за что ему взяться и к чему прикоснуться, он пошел в огород, скинул у ворот тапочки с ног и босиком зашагал по черной, недавно поднятой, холодной земле. Пахано было плугом, на поперечных межах еще не затянулись зеленью следы копыт и круги от плуга, когда его переводили из борозды в борозду. Посреди огорода стояли две листовницы, которые отец, видимо, не решился тронуть, одна из них еще зеленела, вторая торчала сухостойной. На длинной огуречной гряде топорщились в лунках крепкие, шершавые ростки. Картошку еще не сажали, и Виктор с удовольствием подумал, что не минует нынче эту простую, бесхитростную работу, как не минует и многих других крестьянских работ, полузабытых в деле и оттого кажущихся еще более привлекательными.

Потом ему было приятно, сидя на крыльце, бросать курицам зерно и наблюдать за их голодной суетой, которая по мере насыщения превращалась в задиристую и шумную игру. Среди куриц прыгали воробьи, оглядываясь, хватали зерна, снова вертели по сторонам головой, выглядывая опасность, и снова хватали быстро и цепко, одновременно вспархивая на всякий случай и тут же опускаясь. Из закутка за амбаром вывалилась свинья, разогнала и куриц и воробьев и завозила своим носом, как магнитом, втягивая вместе с остатками птичьего корма землю.

Виктор решил пойти в лес.

Он выпил стакан парного молока, но не стал ничего есть: мать растопила русскую печь и гоношила пирожки. За завтраком, чтобы угодить ей, надо было постараться, так что не стоило перебивать аппетит.

По проулку, забитому лежащими коровами, он неожиданно попал за огородами на аэродром. Сбоку, на выходе из деревни, стоял большой новый дом с белым опознавательным крестом на крыше и со сходящимися наверху высокой мачты антеннами радиостанции. Посадочное поле, переименованное из поля хлебного, красиво и ровно было размечено белыми столбиками. Но и здесь лежали коровы. Виктор, приостановившийся было, не зная, можно ли по нему ходить, приободрился и направился напрямик. И все же он шел по полю с каким-то странно-недоверчивым, странно-путающимся чувством удивления и обиды, словно его в чем-то обманули, но обида и удивление состоят не в том, что его обманули, а в том, что обман этот никак не может обнаружиться.

Вдоль аэродрома с верхней стороны была вырыта канава, отводящая от него талые воды с горы, но стенки ее осыпались и канава давно вихляла, норовя пробить свой, удобный ей путь для воды. Сразу за ней начиналась сосновая пустошка, где когда-то было полным-полно маслят. Но маслята тогда за грибы не считали, так разве, на жареху-другую свеженьких нарвать, а потом на них никто и не смотрел: подходили рыжики, грузди. И вообще от незнания ли, или от великого богатства все остальные грибы называли поганками и не брали их. И правда, рыжиков на всех хватало, их солили на зиму огромными кадками, а гриб этот до самой весны остается твердым и запашистым.

Виктор хотел пойти по пустошке, он знал здесь каждый угол и отдельно помнил многие деревья. Но оказалось, что идти по ней невозможно, она лишь со стороны сохраняла видимость леса, с нижнего края, а внутри была почти полностью вырублена. Слишком близко стояла она от новой деревни, где городили огороды, ставили стайки, и это ее погубило: сосенки извели на жерди, на сгни. На земле черными завалами, через которые не пробраться, лежали сучья, пожухла и вросла внутрь хвоя под ногами, торчали остренькие высокие пеньки. Кое-где виднелась и свежая работа: то, что подрастало и годилось для дела, в дело под скорым топором и шло. Виктор успокоил себя: зато там, откуда снялись деревни, перебравшись сюда, лес больше трогать некому — даже на веники, на могильные кресты и новгородные елки. А здешнему такая, видно, выпала судьба — никуда теперь от нее не денешься.

Он долго поднимался в гору по опушке, часто оглядываясь и ожидая, когда скроется деревня. Но край ее все время был виден, с нижней стороны он сходил с водой, открывающейся отсюда так широко и богато, что невольно хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не снится ли это ему где-нибудь в глухую недобрую ночь с тоски по родным местам. Потом опушка кончилась, он повернул вправо и вышел на тропинку, но, пройдя немного, бросил ее: рядом с тропинкой припарилась неизвестно откуда

взявшаяся тракторная дорога, по обочинам которой, как заборы, валялись стасканные в кучи деревья с высоко торчащими необрубленными ветками. И он пошел просто так, куда глаза глядят и где удобней идти, всюду натыкаясь на знакомые, памятные ему уголки. Вот здесь, под этими черемуховыми кустами, вылезало столько сырых груздей, что их можно было брать каждый день; вот здесь он, впервые осмелившись, схватил рукой змею за шею и притащил ее в деревню, но эту смелость в нем вызвала месь, он собирался подбросить змею Нинке, не ответившей — умри, несчастная! — взаимностью на его любовь; а вот здесь они, ребяташки, ставили шалаш — деревянный почерневший клин до сих пор еще торчал в сосне. Он останавливался, подолгу стоял, внимательно, с какой-то излишней пристальностью и дотошностью вглядываясь в траву, в деревья, словно пытаясь установить важную для себя связь с собой же, каким он был в те годы, — и отходил ни с чем.

Потом он неожиданно набрел на лужайку, которую почему-то не помнил, не знал о ее существовании, точно она появилась здесь после него. Это было уже далеко от деревни. Он шел без дороги, надеясь, что наткнется на тропинку и начнет потихоньку спускаться вниз. Мать, наверное, теперь беспокоится, а пирожки остыли. В раздумье он не сразу заметил, что из невеселого, в колодинах, леса попал совсем в другой мир.

Здесь было просторно, светло и празднично. Раздвинувшись, чтобы не застить друг другу свет и не тянуть друг у друга влагу из земли, важно и фасонисто, как барыни-боярыни, стояли полные и пышные березы с широко раскинутыми, свешивающимися вниз тяжелыми ветками. Листья на них были еще клейкие, как чешуя, и нежные, с тонкими, бледными прожилками, каждый по отдельности листочек представлялся знобко-притаившимся, пугливым, а все вместе они вызванивали длинную и счастливую песнь покоя. Кружась перед глазами, пятнистые стволы берез, омытые весной, вызвали смутное и далекое, блаженно-скорбное томление, то озаряющееся внезапной вспышкой, когда чудилось, что вот-вот оно откроется и назовет свою тайну, то снова покрывающееся туманом. В узорных корявинах и царяпинах стволов собирались и обрывались вниз капли сока. Внизу струилась и плавилась тень от берез и цвели подснежники; от невысокой и ровной, будто подстриженной, травы, над которой гудели шмели и порхали бабочки, шел густой, терпко-медяной дух и веял вздымающимися волнами тихий, молитвенный шелест. И далеко-далеко, дразня и пугая, обносил своим гаданием звонко-равнодушный голос кукушки.

И так хорошо, так сладостно-жутко от жизни и солнца, так удивительно и счастливо было здесь, что от этого невыразимого, несусветного счастья хотелось плакать.

После обеда мать, загремев ведрами, собралась за водой. Виктор окликнул ее:

— Куда ты? Полный бак вон воды. Куда еще?

— Ой, Витя,—махнула она рукой на бачок.— Я хочу самовар поставить, а эта вода на чай нехорошая. Она из водокачки, какая-то сильно жесткая. Голову, например, ею нельзя мыть, потом никаким гребнем волосы не раздерешь. На варево мы ее еще берем, а на чай с реки таскаем, хоть и далеко.

Виктор успел заметить одну особенность: когда дело касалось воды как таковой, которую можно набрать, принести, в которой можно купаться, ловить рыбу, здесь говорили «река»; когда же речь заходила о движении по этой воде, увеличенном во много раз по сравнению с прежними расстояниями, говорили «море», хотя в действительности это было ни то и ни другое, у этого понятия имелось свое точное слово — «водохранилище», но уж больно оно было громоздким и неповоротливым, являясь, произнося его, казалось, перемалывал валуны.

— Что я — воды не принесу? — обиделся Виктор. — Сказала бы.

— Ну, сходи, если охота. Я думала, ты устал, набродился уж где-то сегодня.

— Как идти-то, чтобы поближе?

— Вот по этому заулку. Прямо и прямо, пока не упрешься.

Он подцепил ведра на коромысло и, позванивая ими, вышел в улицу. Тянул ветерок, но все равно было жарко; лето нынче начиналось каленое, пора бы уж взойти, показаться дождям, поддержать ту влагу, которая еще оставалась в земле. Здесь не пахнут и не сеют, а лес валить можно в любую погоду, но и здесь по привычке думают о хлебе, о тех, кто пашет под него и сеет, и здесь держат огороды и косят сено.

Набрать воды оказалось не просто. У берега хлопала волна, и вода была красной, глинистой — такую обычно несет весной с полей. Виктор потоптался, потоптался возле лодок, которыми был заставлен весь берег, зашел в одну, другую, черпая с кормы и выплескивая обратно, — эту воду не то что пить, на огурцы добрая хозяйка посовестится выливать. Что же делать? Не возвращаться ведь с пустыми ведрами обратно? Виктор стал раздеваться и не заметил, как сзади к нему подошел мальчишка.

— Купаться, дядя, будете? — спросил он.

Виктор недовольно обернулся: вот уж готов и первый свидетель, очевидец того, что он не умеет из реки, из моря, из водохранилища, из всего сразу набрать обыкновенной воды. Не все же они тут для этого раздеваются догола, наверное, как-то обходятся по-другому.

— Купаться, — ответил он. — У вас здесь поневоле начнешь купаться.

Он подхватил ведро и пошел в воду. Под ногами, как каша, поползла тина, и, поскользнувшись, он чуть не упал. Это его разозлило еще больше: черт знает, действительно, что творится! Дальше он уже с трудом вытягивал из этой засасывающей внутрь каши ноги, но упрямо лез вперед.

— Не-е, — крикнул ему с берега мальчишка. — Надо на лодке.

Виктор все же зачерпнул то, что перед ним было,

и, подталкивая ведро впереди себя, кое-как выбрел обратно.

— На лодке надо, — повторил мальчишка. — Этой водой подавиться можно.

— На какой еще лодке? — Виктор стряхивал с себя приставшие соринки и со страхом и брезгливостью наблюдал, как все тело покрывается мелкими, игольными точками грязи.

— Вы к дяде Петру Степановичу приехали? — спросил мальчишка.

— Да.

— Ваша лодка на замке. Вон там она. Можно на нашей.

— И куда?

— Туда, — мальчишка показал в море.

— Вы что же — в лодках теперь за водой ездите?

— А на чем больше?

— И всегда так?

— Не-е, зачем всегда. Если чистая, откуда берем. Это ветер вчера взбаламутил. Теперь к завтраму то ли отстоит, то ли нет.

— Взбаламутил, — передразнил его Виктор. — Ну что ж, поплыли — где твоя лодка? Лодка-водовозка.

Мальчишке было лет десять — двенадцать. Плечи его и шея успели загореть до черноты, но из-под майки выглядывал совершенно белый живот. На подвижном курносом лице глаза бегали быстро и деловито, сразу схватывая то, что нужно. Но самой важной отметиной мальчишки были краснеющие на руках цыпки, которые Виктор разглядел, когда мальчишка вставлял в гнезда уключины весел. Давно он не видел ребятишек с цыпками, теперь это аккуратный стал народ, и обрадовался им как старым знакомым, с которыми когда-то расставался редко. О, цыпки, цыпки, детки воды и грязи, скулящие по ночам даже под гусиным салом с бесконечной голодной требовательностью, так что не разжать без боли рук и не двинуть ногой, а утром как ни в чем не бывало снова готовые на любые приключения. Как же без цыпок? Есть, есть, значит, на свете мальчишки — не одни только мальчики. Молодцы, мальчишки!

Они отгребли от берега метров на сто, и Виктор достал наконец свою воду, которая по затраченным усилиям вполне стоила живой. В ней, правда, тоже что-то плавало, чернело, крутилось, но это уже не имело никакого значения.

— Купаться будем? — спросил мальчишка.

— Купаться? — Виктор задумался. — А не рано?

— Не-е, вода теплая. Я в этом году уж три раза купался.

— Ну, если не боишься, давай. А мне так даже и полезно сейчас обмыться.

Виктор первым бросился в воду, мальчишка нырнул вслед за ним. Вода обожгла, но скоро Виктор понял, что она действительно терпима, по крайней мере, гораздо теплей той, что была в реке. Течения нет, нагревается быстро. Ребятишкам теперь приволье, а они раньше из реки бежали к разведенному на берегу костру.

— Туда, — закричал мальчишка, показывая рукой в сторону торчащих из воды верхушек деревьев.

Они поплыли рядом. Двигался мальчишка быстро и легко, он переворачивался на спину, переваливался на бок, опять переходил на «саженки», демонстрируя перед Виктором все свое мастерство, и видно было, что плыть так он может долго. Виктор уже отставал. Вот, пожалуйста, и преимущество моря: в теплой воде можно научиться как следует плавать. В реке больше пяти минут вынести было трудно.

Они уже подгребали к деревьям. Мальчишка взобрался на сосну, Виктор недалеко от него — на березу. Она согнулась под ним, но выдержала. Вот и второе преимущество: кто прежде мечтал о таких пунктах отдыха среди воды?

— Вы только не ныряйте там, — предупредил мальчишка. — Там где-то под водой елка стоит. Мишка Жуков в прошлом году нырнул и весь бок себе распорол. Кровищи было. Мы его кое-как к берегу приплавили — так красный след сзади и тянулся.

— Ну и что? Живой этот Мишка?

— Живой-то живой. Но бок у него тоже как елка стал. Ему операцию делали.

— Как тебя зовут? — спросил Виктор.

— Филипп.

— Филька, значит?

— Ну, можно и Филька. Только я не люблю, когда так называют. Вроде прозвища. Филипп лучше.

Виктор засмеялся:

— Серьезный ты человек.

— А что? — не понял мальчишка.

— Хорошее у тебя имя — вот что. Не вздумай его менять, когда вырастешь.

Наверное, у мальчишки, который имеет цыпки, и должно быть такое имя, как Филипп.

— А я уж искать тебя отправилась, — сказала мать, выходя за ворота. — Думаю, не утонул ли где. Нету и нету. Давай сюда хоть одно ведро, отец давно чай просит.

Виктор разговаривал со своим товарищем по детству, веселым и бесстрашным забиякой Славкой Капустиным, вымахавшим теперь в здорового двухметрового верзилу с огромными длинными руками и прямыми широкими плечами. Славка окликнул его, когда Виктор подходил со своей драгоценной водой к дому. Оказывается, он жил напротив.

— А я слышу, говорят, какой-то важный чин к дяде Пете приехал, — заливал Славка, прищуривая один глаз. — Не могу понять: что за чин, кто такой?

— Ладно, ладно, не придуривайся, — весело, в том же тоне отвечал ему Виктор. — Чин. Сам ты чин.

— А что — я тоже чин. Я, знаешь, сколько пользы государству приношу? О-го-го! Во-первых, четырех ребятишек сделал, и все парни. У тебя сколько?

— Один.

— Мало, мало. Что ты за мужик, если не можешь даже за себя да за бабу свою отработать? Кому-то

надо потом вместо вас землю топтать. Ты с этим не шути.

У Славки еще в детстве было одно прекрасное качество: его не приходилось расспрашивать, он сам выкладывал о себе все.

— Работаю на тракторе, в лесу. Дай бог каждому так работать. По триста—четыреста рубликов чистенькими в месяц. У тебя столько выходит?

— Нет.

— Ну, вот видишь. Переезжай-ка к нам. У нас лучше. Другой народ, все свои. Если кто и обматерит — ну и что, все равно дальше голоса не слышать. А тебя в газете чуть покритиковали, так об этом весь белый свет знает. Ну, ладно, приходи, посмотришь, как я живу. Хорошо живу. Хвастать не буду, сам увидишь.

— Приду, обязательно.

— А если что — правда переезжай. — Славка громко захохотал. — Но я тебя в свою бригаду не возьму. Обижайся — не обижайся, а не возьму. У меня знаешь как надо поворачиваться? О-го-го! А ты на своей работенке уж не тот. Я тебя Степке Шелковникову подсуну. Он возьмет. Так что подумай.

Сердиться на Славку было невозможно. Есть же такие счастливые люди, у которых все, что бы они ни молили, выходит складно, ладно и безобидно.

И потянулись дни — ясные, солнечные и долгие.

Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что он уже приехал, ему казалось, будто он все еще в дороге и остановился где-то неподалеку от родной деревни, настолько неподалеку, что иногда вдруг нечаянно можно выйти к знакомым местам, памятным по детству и прежним наездам, окунуться в их таинственный и заветный дух и почувствовать в себе чистое и трепетное волнение, отзывающееся на их близость. Он был рядом и все-таки в стороне, и там, где он теперь находился, висело другое небо — однобокое и неровное, сильно смещенное в один край над водой; лежала другая земля, в редкие сокровенные минуты напоминающая ту, на которой он рос, и все же чужая и неясная; гнулись под небом другие горизонты и стояло в центре всего этого другое село — большое, пестрое и шумное. Он готов был поверить, что приехал сюда не вовремя — или слишком поздно, или рано, но не в свой час, затерявшийся неизвестно где по ту или другую сторону от этих дней.

Он много бродил по лесу; ему было приятно идти, окуная ноги в траву, убирая от лица тяжелые тугие ветви и жадно, с какой-то особой обостренностью прислушиваясь к разноголосице птиц, к перестуку заходящихся в дробь дятлов, к шелесту листьев; на его душу упал мягкий блаженный покой, убаюкивающий все тревоги, но чувство это, он знал, могло возникнуть где угодно, в каком угодно лесу, а не только здесь, в нем не было того единственного, неповторимого более, страстного и глупо-умильного отзвука, который вызывают родные мес-

та. Лишившись чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино, в один круг, они разбрелись кто куда, превратились в отдаленно-знакомые, постаревшие от времени уголки и казались всего лишь воспоминаниями, которые также могут явиться где угодно.

На третий день после приезда он поплыл с Николаем на рыбалку. Они остановили лодку среди затопленных деревьев, наживили на крючки червей и тут же, у борта, с одной и другой стороны лодки спустили в воду утяжеленную грузилом капроновую нить, оставив конец ее в руках. Вся хитрость заключалась в том, чтобы время от времени поддерживать эту нить, показывая червяка и подсекая рыбу, отчего такое приспособление и называлось дергалкой. Не прошло пяти минут, как Николай вытащил первого окуня. Затем и Виктор почувствовал, как заходила под рукой леска, и стал торопливо выбирать ее. За два часа они вдвоем набрали в лодку большие ведра окуней. Это была почти механическая работа: опустить леску, подождать, поддернуть, еще подождать, еще поддернуть коротким рывком, ощутить отчаяние обманутой рыбы и вытащить ее на воздух. Азарт, охвативший поначалу Виктора, быстро прошел, а ожидание, нетерпение, мучительное и сладкое отчаяние, без которых и рыбалка не рыбалка, не успев назреть, лопались и исчезали, не доставляя обычного в таких случаях наслаждения.

Он помог матери посадить картошку, с удовольствием поливал по вечерам огурцы. Но чаще все-таки не знал, как справиться со временем и снова и снова шел в лес.

Раза два или три, задумавшись о чем-нибудь, он останавливался посреди села в растерянности и удивлении: где это он, куда забрел? Вокруг стояли знакомые дома и шли знакомые люди, которые не имели с ним никакой связи, — приходилось делать над собой усилие, чтобы припомнить, почему он здесь, но и припомнив, разобравшись, найдясь, он все равно испытывал смутное недоумение: ну да, теперь ясно, что тут такое и как он сюда шел, но неясно, зачем он сюда шел, что ему здесь было нужно. И, торопясь, он поворачивал обратно. Он убеждал себя, что надо подождать еще несколько дней, чтобы привыкнуть, сойтись со всем, что его окружало, в полном понимании и близости, совместить в себе то представление о деревне, которое жило в нем все эти годы, с картиной, которую он здесь увидел, но дни шли, и ничего не менялось. Он знал, что сам виноват в этом, и все-таки не мог с собой ничего поделать.

И он сдался. Оставшись однажды с матерью наедине, он решительно объявил:

— Со следующим теплоходом я поеду.

Она вскинула на Виктора испуганные глаза, долго смотрела на него, не зная, как быть, и сказала:

— Места себе не находишь.

Он согласился:

— Не нахожу.

Через два дня после этого он уезжал. Мать и отец молча и подавленно ждали, чтобы проводить его на пристань; Виктор в последний раз зашел в избу попрощаться с бабушкой. Она с трудом поднялась с постели, заплакала и, плача, перекрестила его.

— Ты уж не пиши там, чего не велят, — сказала она сквозь слезы.

Виктор не выдержал и засмеялся:

— Что ты, бабушка?! О чем ты говоришь?!

О святая простота — как же нам без тебя, как же!

И опять теплоход. Взять каюту на этот раз не удалось: весь теплоход был забит туристами (ох уж эти путешествующие в поездах и пароходах туристы, эти полнеющие женщины и лысеющие мужчины, которые и ног-то не хотят маять и которые весь смысл подобных путешествий видят только в общении между собой, — кто поставит памятник вашей горькой и смешной неутомимости?). Все остальные пассажиры забились по углам и выглядели оттуда со страхом и любопытством, а вокруг смеялись, пели, бренчали, гонялись друг за другом, как дети, — теплоход более всего напоминал цыганский табор. Хорошо еще, что мать положила Виктору в дорогу какие-то печенюшки, а то бы пришлось голодать: ресторан был отдан только туристам, а буфет к этому времени они успели разграбить.

Виктор оставил чемодан у старушек внизу, вчетвером сбившихся на одной скамье, и бродил по палубе. Далекие берега были неподвижны, вода спокойной, и теплоход, продвигаясь вперед, создавал видимость медленного и важного встречного течения. Лето набралось, разгорелось еще больше, поднялось выше, по обе стороны от воды все было охвачено его ровным и светлым зеленым огнем.

Дни, проведенные Виктором в деревне, свернулись в один смутный, неразличимый клубок, успевший закатиться куда-то, и Виктор никак не мог поверить, что он уже возвращается обратно. Он пытался понять, что заставило его уехать, можно сказать, даже сбежать из деревни, но попытки эти были слабыми. Кажется, он не жалел, что уехал. Видимо, надо было уехать. Видимо, надо было уехать, чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход, любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега и новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды — увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет.

И он знал уже, что так оно и выйдет, — нынче же, скоро.

Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали операцию, по моим ощущениям, довольно неприятную, которая прошла, однако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь... Там, в больнице, я снова встретил Наташу.

«Снова встретил» — это так и не так. То, о чем я хочу рассказать, есть странное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя, да и не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает; погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.

Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Почему не утром, когда медсестры заступают на дежурство, и не в течение долгого и однообразного дня, как удалось мне за весь этот день не столкнуться с Наташей и дотянуть до вечера, не знаю, тут что-то было особое. Как обычно, перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли: плотный, с густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, которую он старательно оберегал, и совсем еще молоденькая девушка, рослая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств, и заманчивая, словно бы так с самого начала и задуманная, с широким, мягким, цветущим добротой лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии, можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой и узнавал ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал ее, сталкивался не в уличной суете, когда раз мелькнувшее лицо может надолго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе не случайном и не пустяковом для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что это такое было, как ни напрягал я память, все же не вспомнил. Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой и обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся и это она и есть.

Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и не мог вспомнить, и чем старательнее перебирал я все, что случалось со мной в последние годы, тем большую чувствовал безнадёжность. Где-то это было не там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком поглядывая на

меня с терпением и укором, но только поднимал я на нее глаза, ищущие вольную или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта способность смущаться и краснеть, нынче почти изжитая в девушках, настолько была в ней приятна и естественна и так к ней шла, ко всему ее крупному лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить нельзя было иной и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама душа затеплялась в тебе счастливым ответным смущением. Многие больные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что ее нельзя скрыть и она в самом прямом смысле торчит на виду; постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым, и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных, работать с ними было непросто. Но перед робостью Наташи робели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать, это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что силы больного кончились и надо срочно, если позволяет болезнь, выписывать его, дать пожить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой принялось, что молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой и в голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше чем просто медсестра, исправно и с душой исполняющая свои обязанности. Как бы это называть?.. Пожалуй, на нее смотрели как на человека немножко не от мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое непонимание.

Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, а по какому-то своему, ломаному графику и появлялась всегда возле своего столика в коридоре тихо и незаметно: только что не было — и тут, неслышно двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с лекарствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев ее, я вздрагивал — так близко было до того, чтобы вспомнить; я делал уже порывистое движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; все во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал, но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то еще не мог удержать воспоминания. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало, я неловко здоровался и отходил. Снова и снова все было напрасно.

Дошло до того, что мы стали избегать друг друга — и я без крайней нужды не обращался к ней, и

она заходила в палату все реже. Но в нашем закутке, или блоке из шести палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения врачей приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сделать свое дело и уйти, я же чувствовал себя вконец виноватым: она ведь могла считать, что я прекрасно все помню, но из какой-то своей корысти не хочу открываться, а спрашивать ее, что это было, что я не в состоянии вспомнить, тоже казалось мне неприличным — могло ведь ничего и не быть, я мог все это навывдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного внимания.

Исподтишка я продолжал наблюдать за ней.

Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то поверх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо ее озярялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова замечал ее взгляд на себе — то пытливый и проницательный, вызывающий тревогу, то отсутствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, настороженно-люкавый...

В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто — возможно, подменяла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительного, что ей же выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла впереди, Наташа подталкивала ее сзади. Укрытый простыней, я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на опущенном лице, она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. В это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня ввели в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям — Наташа продолжала смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери.

Все, я остался один среди этих людей, никого из которых с закрытыми лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные, звучали с одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но ничего не понимал, они говорили на незнакомом языке.

Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал.

...Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, чтобы почувствовать, что я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, и снова впадал в тяжелое, тупое забытие. До меня доносились женские голоса, я различал и один голос, и второй, требовавшие, чтобы я не спал, но я не мог не спать, это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил, мне по силам было только спать — даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из которого, я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться выход.

И он постепенно приоткрывался во мне: я чувствовал уже, как берут мою руку, чтобы проверить

пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню свое ощущение: я пытаюсь подняться из глубокого, закачанного угаром шахтного колодца, невесть как очутившегося на моем пути, я тороплюсь, чтобы не задохнуться в нем, но так медленно всплываю... дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. Я заворочался со стоном, меня каким-то образом поняли, и грелки были убраны. Стало легче. В темном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать, оно было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало; я очень расстроился, когда оно все-таки исчезло.

Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному, во всю стену, окну. Там, за окном, был еще день — единственное, что я отметил, и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволил себе опускаться во сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса женщин, разговаривавших между собой и отвечавших кому-то на вопросы обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я очнусь.

Это была Наташа. В сумерках ее фигура показалась мне выше и легче, точно парила в воздухе. Я сразу пришел в полную память. Обрадованным и слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил:

— Наташа, я вспомнил, вспомнил... мы летали...

Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала.

То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероятней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная картина составила затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда, с заботой достраивающими в нас все неоконченное. Не думать же об этом было нельзя, мы невольно придаем значение и ищем вещей смысл в подобных видениях, тем более что здесь было в чем его и искать.

И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? Совпадение настолько полное, и так часто это лицо стояло у меня перед глазами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. А встретил — и растерялся, две недели мучился воспоминанием, которое находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся, оттого и мучился, что рядом, — всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встревоженная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной еще ярче и явственней, и я все меньше склонен верить, что она произошла из сна. Краски, запахи, ощущения — нет, многое во сне является совсем по-другому.

Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, существует, и видеть ее не

составляет труда), полную цветов — жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и там поднимающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной — я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием, беспокойство мое нарастает, я жду чего-то и сам не знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем ее летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распущены по плечам — если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это значит?

Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений: это ее я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и полней, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог предполагать. Чувствуя мое смущение, она улыбается. От улыбки ее широкое, с крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой и кажется на редкость красивым.

С ее появлением все вокруг незаметно меняется, точно перестраивается для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое к Ангаре поле, густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчесанные с пробором волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой — к горе. Мы стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, упало близко к закату, и теплый свет его идет низко над землей. Байкал еще больше вычистило, выяснило, и еще заметней стала его дальняя вознесенность к небу.

Я смотрю на все это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе моей возрастает тревога, мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подведу, а если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но, странно, мне чудится, что меня не станет таким как я есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе с жалостью к себе меня охватывает гордость.

— Готов? — спрашивает девушка.

— Не знаю. Я не сумею.

— Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, — говорит она озабоченно. — Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.

— А это ты велела мне прийти? — Я не сомнева-

юсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время.

— Пошли! — Она берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный свет быст нам в спину. — Бежим! Ну, бежим, бежим!

Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрее и легче; она опускает мою руку и остается где-то позади, но я слышу ее голос, требующий, чтобы я бежал еще быстрее. Я несусь огромными скачками, мне кажется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырехскатную железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и ей это не под силу. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется, повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не остановиться, но девушка настороже, она рукой показывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и второй над ее истоком и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно успокаиваюсь, восторг мой, отбушевав, становится мало-помалу разумным, и теперь я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в творящуюся вокруг меня жизнь.

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достаёт нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне, из далекого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенью тропинки, тальми провисшими путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием.

Солнце склоняется все ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И еще — вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничьим голоском, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь... вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку...

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:

— Пора.

И показывает на берег.

— Нет, нет,— волнуясь я. — Еще. Я не хочу.

— Солнце заходит. Пора,— терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она.

И я понимаю: пора. Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплошной синей тени, звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы приземляемся на ту же самую поляну, и я, пробуя ноги, делаю первые шаги, которые огромной тяжестью отдаются во всем теле. Девушка с усталой и беспокойной улыбкой наблюдает за мной.

— А дальше? — спрашиваю я.

— Что дальше? — Она делает вид, что не понимает.

— Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу еще. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного.

Помолчав, она говорит:

— Я буду приходить.

На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты ее лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и, робкой рукой прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и

в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее.

Но она сказала: я буду приходить.

Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще издали выглядывал: вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было, дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, когда она придет, и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необычная встреча.

Я ждал и день, и два, и три — Наташа не появлялась. Конечно, у нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства, она могла заболеть, много чего могло быть, но я уже чувствовал, что все это не то. Когда, наконец решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города.

Оказалось, она работала в больнице недолго.

НЕ МОГУ-У...

Мы с товарищем опоздали на электричку и сели на проходящий, взяв билеты в плацкартный вагон. Плацкартные ныне потускнели — или оттого, что возвращаться к ним приходится нам из купейных, а не подниматься, как в свою пору, из общих, или, правда, по всем статьям опустилась железная дорога. Этот, в который мы забрались, был замусорен, закопчен и как-то не расположен к уборке. Проводнице, хорошенькой большеглазой девушке из студенток, конечно, казалось в нем неудобно, и она, едва поезд тронулся, скрылась, и больше мы ее за два с половиной часа не видели. Впрочем, и поезд был не дальнего следования, под трехзначным номером — кто на такой смотрит, кто к такому придирается? Лишь бы вез, а то ведь они, эти недалекого следования, гораздо и стоят.

Мы устроились на свободной скамье напротив старушки с книгой и принялись осматриваться. Старушка читала без очков — это в ее возрасте надо выделять как особую примету. Она держала толстую и разбухшую книгу на коленях, наклонив аккуратно седую голову с широким гребнем в коротко стриженных волосах. Губы ее пошевеливались при чтении, подвижное, чуткое лицо отзывалось той жизнью, которая была в книге, с простодушным интересом. На верхней полке над старушкой ворочал-

ся и косился на нас красивыми серыми глазами на породистом длинном лице мужчина средних лет, одетый в спортивное трико — черное с белыми полосами; полосы, впрочем, посверкивали и на лысеющей голове. По его мнению, мы были несерьезные пассажиры: вдвоем с одной сумкой, да еще к тому же отчего-то веселые. Веселье под хмелем понять можно, а без хмеля оно подозрительно, особенно в поезде. Может быть, этого пассажира сверху смущали наши три свободных руки, может, что-то более серьезное, но мы ему явно не нравились.

Товарищ мой по своему обыкновению всем интересовать поднялся и обошел вагон. Когда он вернулся, сообщив, что в вагоне на удивление нелюдно, и стал рассуждать, почему пассажир сейчас подел (дело было в сентябре), послушать его к нашему купе придвинулись любопытные — мальчик и девочка лет пяти—семи, которых он успел за свой короткий выход чем-то заинтересовать. Прервавшись, Олег (так звали моего товарища) подел в карманы, нашарил там шариковую ручку и расческу и протянул их ребятам. Те, помывшись, взяли и, не зная, что с ними делать, остались стоять с подарками в руках, оторопело поглядывая друг на друга. Мужчина наверху усмехнулся, но, кажется, этот неуверенный и искренний жест его устроил — он отвер-

нул. Старушка, приподняв книгу и делая вид, что не отрывается от нее, смотрела на моего товарища с опасливым прищуром, боясь, как бы он не взялся одаривать чем-нибудь подобным и ее. Мы все больше сходили за ненормальных.

И тут до нас вдруг донесся не то стон, не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий, что стало не по себе. Олег вскинулся:

— Что это?

— Это там дяденька плачет,— сказала девочка и показала рукой в глубину вагона.

— Дяденька плачет? Чего он плачет?

— Его хмель давит,— баском пояснил мальчик.

Теперь, когда они заговорили, стало видно, что мальчик старше девочки и кое-что знает в жизни.

Старушка оторвалась наконец от книги и, выглянув в коридор, со вздохом подтвердила:

— Ой, надоел. Перед городом милицией припугнули, так затих. Теперь сызнова.

— Не могу-у! — истошно взревел неподалеку голос. — Не могу-у!

— Чтoб ты сдох! — отозвался сверху мужчина в трико и возмущенно сел, спустив над старушкой ноги. — Нет, дальше следующей станции ты у меня не поедешь! Хотел ведь, по-человечески хотел снять! Чтoб по-человечески ехаты!

— Не могу-у-у! — еще отчаянней, еще горше перебил его голос.

Олег, не вытерпев, пошел посмотреть, я за ним. Через две перегородки от нашей, уронив лохматую голову и время от времени пристукивая ею о столик, корчилась в судорогах грязная и растрепанная фигура в засаленной, выдавшей вида нейлоновой куртке и резиновых сапогах. Купе было свободно, видеть ее мучения никто не хотел. Олег присел напротив, по другую сторону столика, я сбоку. Человек, сидящий перед нами, уткнувшись в столик, ненадолго затих, словно прислушиваясь к себе или к тому, что происходит кругом, затем сдавленно, через силу сдерживаясь, испустил длинный утробный стон — нарочно так, с таким рвущим горло выдохом, изобразить он не мог, так могло выходить наружу только бушующее страдание. Олег принялся тормошить беднягу за плечи, тот долго ничего не чувствовал, ничего не понимал, потом поднял все-таки голову, показав лицо, и бессмысленно уставился на нас.

Никто, никакой вражина не сумел бы сделать с ним то, что сделал с собою он сам. Прежний человек хоть и с трудом, но все же просматривался еще в нем. Голубые и, наверное, чистые когда-то глаза перетянуты были кровавыми прожилками и запухли, призакрылись, чтоб не видеть белого света... Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильней и безжалостней всматривались они в свое нутро, заставляя этого человека кричать от ужаса. Светлые густые волосы на голове стали от грязи пегими и свисали лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу аккуратным и крепким подбородком лицо со слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной форме для про-

стодушия и сердечного ответа, — лицо это, одутловатое, заросшее, тяжелое, полное дурной крови, пылало, сейчас догорающим черным жаром. Даже ямочка на подбородке и та казалась затянувшейся раной. И сколько лет ему, сказать было невозможно — то ли под тридцать, то ли за сорок.

А вспомнить — такие же мужички, прямые предки его, с такими же русыми волосами, незатейливыми светлыми лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему, — шли на поле Куликово, собирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком за Урал, прибирая к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера... И вот теперь он.

Мой товарищ продолжал тормозить его.

— Ну что? Чтo тебе?

— Не могу,— сорванным, обвисшим голосом прошептал он.

— Может, помочь чем? Чем помочь-то тебе?

— Не знаю.

— Ему бы куриного бульончику... желудок отмягчить,— посоветовала старушка из нашего купе; мы и не заметили, как вокруг нас собрались люди.

— Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен,— громко, увесисто, зная, по-видимому, толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие у нас мальчик и девочка.

Все разом загалдели:

— Ага, стопарь-то его и довел. На стенку лезет.

— Ему стопарь — его связывать надо. Рот затыкать надо.

— И так едем как в вытрезвителе. И ни одной власти нету, все разбежались. Бригадир вызывали — где он?

— А поедешь — как в морге, — пробасил верзила. — Не видите, какой у него хмель злой? Он давит его. — После этих слов уже не оставалось сомнений, что верзила — отец мальчика и девочки. — Он очокуится здесь — кто будет виноват?

От нашего купе подскочил мужчина в трико:

— Поэтому и надо его немедленно снять. Я предлагал... Так ехать невозможно. Тут люди.

— У него и билета, поди-ка, нету. Он, поди-ка, открытую дверку увидал и полез. Он перепутал дверку-то.

— Он много чего перепутал.

Напротив меня оказалась ядреная, широкой кости, со свежего воздуха старуха с продубленным лицом. Она взмахивала могучими руками:

— Голики! Голики несчастные! Всех бы поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня зять...

— Развели демократию для пьяниц. — Это опять наше образованное трико. — Тут мы на высоте-е, тут мы сто очков кому угодно.

А тот, из-за кого разгорелся весь этот сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно постанывал — на исходе, казалось, последнего духа.

Товарищ мой слушал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзила.

— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.

— Ступай, ступай, милоч. Че другое, а эта за-всегда в работе, — съязвила старуха с вольного воз-духа. — Только свистни — все запоры падают. Ко-ров, свиней не напоят, а для мужиков поилка ден-но и ночью, в любую непогоду бежит. Не сумле-вайся. — Вредная, видно, была старуха, добавила: — Тебе, поди-ка, и самому невтерпех.

Олег вернулся с бутылкой портвейна. Люди к этому времени разошлись, только верзила, чувстви-ющий ответственность за совет, сидел вместе со мной возле несчастного.

— Может, обойдется, не надо? — спросил его Олег.

— Глядите сами, — пожал плечами верзила. — Я бы дал. Ишь, он дышит как. Нехорошо дышит. Хмель, он, конечно, потом свое требует, но пускай маленько передохнет мужик. Сразу обрывать опас-но, я знаю. Ему бы теперь потихоньку на тормозах спускаться.

На этот раз долго расталкивать мужика не при-шлось — наверно, он слышал наши приготовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан с вином, долго и строго смотрел на не-го, словно что-то вспоминая, потом обвел нас до-нельзя угнетенным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. Вагон потряхи-вало; слышно было, как стекло бьется о зубы. Он пил долго, как и все дошедшие до предела люди этого сорта, маленькими, осторожными глотками, раздирая спекшееся горло. Выпил, поставил ста-кан, с трудом отцепил руки и прохрипел:

— Еще.

— Погоди, не гони, — остановил его верзила. — Поглядим на тебя. Послушаем, что скажешь.

Мужик замер, прислушиваясь к себе, и что-то услышал — сморщился и взялся растирать грудь.

— Достало? — спросил верзила.

— Нет.

— Давно это... в вираж вошел?

— Не знаю. Не помню. — Он говорил с трудом, хрипло и нутжно, у него и слова выходили как обугленные. Голова его норовила упасть, он рыв-ками встряхивал ее и задира, показывая корот-кую, скрученную толсто и мощно, мускулистую гряз-ную шею.

— Сам-то откуда будешь, из каких краев?

— Из Москвы.

— Ой, трекало! Ой, трекало! — всплеснула рука-ми вышедшая опять на разговор вольная старуха. — Ты уж ври, да не завирайся. Станут в Москве та-ких держать!

— А кто его там держит? — отозвался из сосед-него закутка чей-то голос. — Мы с вами не в метро по белокаменной едем.

— Всю биографию рисовать? — спросил мужик — в нем, похоже, начал продираться свой голос — и покосился на бутылку в руках у Олега.

— Налей, — позволил верзила. — Сердится — в пользу, стало быть, пошло. Только не полный, хват-ит ему половины.

Олег налил полстакана. Мужик выпил на этот раз попроворней, в глазах у него появился острый блеск. Чтобы не оставлять ему надежду, мы разли-ли остатки портвейна в три принесенные ребятиш-ками посуды и тоже выпили. За здоровье москви-ча. Он посмотрел на нас проснувшимися крохами вялого любопытства, но все в нем еще было тяже-лым, малоподвижным и закаменевшим, и он никак не отзывался на наш тост.

— Как звать-то тебя? — продолжал допытывать-ся верзила.

— Герольд.

— Как?

— Герольд. — Мужик закашлялся над собствен-ным именем.

— Не русский, что ли?

— Русский.

— А пошто так зовут?

— Откуда я знаю? Отец с матерью назвали.

— Кажется, это скандинавское имя, — предполо-жил мой товарищ.

Верзила подумал:

— Ты, мужик, с таким имечком, однако, не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправду русский?

— А что ты — по роже не видишь?

— Господи! — тяжело вздохнула старуха. — Кого только не увидишь! С кем только не стакнешься! И чего ты мне на добрых людей не дашь погля-деть?!

— И давно ты, герой, или как там тебя, бичу-ешь? — не отставал верзила.

Мужик не ответил, занятый чем-то в себе, каким-то происходящим внутри опасным движением.

— Баба-то есть? — спросила старуха и, когда он и на этот раз не отозвался, уверенно сама себе ска-зала: — Выгнала. Кто, какая дура с таким обором-том жить станет?!

— Выгнала, выгнала, — со злостью подтвердил мужик и добавил: — И сама спилась.

И так он это произнес, что ясно стало: правда, чистая правда.

— Вот те раз! — ахнула старуха. — А ребятиш-ки? Ребятишки есть?

— Есть сын. И он сопьется.

— А вот это ты врешь, — возразил верзила. — Не сопьется.

— Сопьется.

— Врешь! — грохнул голосом верзила. — Ты что это, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребяти-шек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пу-гаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию вы-правлять. Понял ты, бичина? И никогда больше про своего сына так не говори. Понял? Кто-то должен ил не должен после тебя, после нас грязь вычи-тить?!

На шум повыскакивали опять из всех закутков

люди; укоризненно покачивала в нашу сторону головой старушка с книгой; подскочил и стал что-то частить мужчина в трико. Верзила, не понимая, как и все мы, слов, но прекрасно понимая, о чем они, смущенно и досадливо помахивал ему рукой: мол, извини и успокойся, больше не будем. Но трико не прощало и не отставало. Мужик наш, этот самый Герольд, уставившись на трепыхающееся перед его носом аккуратное брюшко, хлопал глазами и с гримасой кривил лицо.

— ...только до следующей станции,— неожиданно четко закончило трико.

— Порож-няк! — звучно, со сладью кинул ему мужик — откуда и красоты такие взялись в этом голосе.

— Что-о?!

— Порожняк! Сворачивай в свой тупик и не бренчи. Надоел.

— Еще и оскорбления! Я долго терпел! — Трико закрутилось, соображая, куда бежать, в какой стороне поездное начальство.

— Ты погоди, не шепутись,— пробовал его остановить верзила.

— Мы с вами вместе свиней не пасли,— был ему известный ответ, который верзила, однако, не понял и удивился.

— А что я — дурной, буду их пасти? У нас их сроду никто не пас. Сами в земле роются.

Мужчина в трико кинулся по ходу поезда.

— Вот и сграбастают,— назидательно сказала вредная старуха с вольного воздуха. — Десять але пятнадцать суток.

Мальчишка заволновался:

— Ты, папка, опять? Тебе что было говорено? С тобой прям никуда не выйди.

— Да вот, высунулся,— поморщился верзила, кивая на мужика. — Ты уж сиди и не высовывайся, тебе не положено высовываться. Понял?

— За это не забирают,— сказал мой товарищ. — Ничего же не произошло. Ни действия, ни мата — ничего не было.

— А пошто порожняк-то? — заинтересовался верзила. Слово ему понравилось, он, видать, и сам мастак был сказать коротко и любил это в других.

Мужик молчал — в нем опять что-то происходило.

— Я спрашиваю: пошто порожняк?

— Бренчат, бренчат! — вдруг зло, яро, едва не на крике сорвался мужик и крутанулся в ту сторону, куда убежало трико. — Я вижу — это он. Это он, он! Я бич, я никто, я отброс, но я десять лет честно работал. Мой отец воевал. А этот... он всю жизнь честно бренчит. Это он, он!

— Кто-о-о? Чего ты раскричался? Кто — он?

— Порож-няк!

И, уткнув голову в столик, затрясся в рыданиях. Все — передышка кончилась, хмель снова брал его в оборот. Мы переглянулись, не зная, что делать. Больше помочь ему было нечем, да и прежняя наша помощь пошла, как видно, не впрок.

— А куда едешь? Где сходить тебе? — неловко и озадаченно спросил еще верзила.

Мужик вскинул голову и прокричал:

— Где сбросят. Понятно? Где сбросят. Отстаньте от меня, отстаньте! Не могу-у!

Да, никуда не годились у него нервишки, спалил он их.

Мы с товарищем вернулись в свое купе. Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за окном, за играющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко, настукивая на железных путях бодрым стукотком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный порядок.

На следующей станции мы сошли. И, проходя вдоль своего вагона, увидели в окне повернутое к нам страшное, приплюснутое стеклом лицо в слезах, с шевелящимися губами. Нетрудно было догадаться, что выговаривали, мучительным стоном тянули изнутри губы:

— Не могу-у-у!

СИБИРСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

ИРКУТСК С НАМИ

Удивительно и невыразимо чувство Родины...

Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, кто он есть. Былинный источник силы от матери — родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение.

И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятьливость, душой мы постоянно на Родине, все мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего — вечного, значит, огромную тот потерял радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячу лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть громкие современной славы города, которым только десятки лет, но которые в праздничных перечнях норовят выступить вперед, за счет своей индустриальной мощи. Иркутск, мой родной город, по этим мерам в среднем возрасте: три сотни и второй десяток лет доходит, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркут-реки на Верхоленской стороне государев новый острог», И, как я

представляю себе, немало пострадавший в новейшие времена от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел сохранить свое лицо. И стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная себе цену, в меру знаменитый и прежней славой, и новой, в меру скромный, издавна культурный, традиционно гостеприимный, чуть опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что, верно, опустился — стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и древа, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют 600-тысячное почти население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, работу, родину и вечность.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взятые из недр своих запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гуд. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько в ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на столет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые заплатки, новых каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет — ты там, в этом диковинном мире столетней давности.

Именно столетней.

Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший большую часть города. Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать: Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла еще богаче, красивее и просторнее, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, возводил крышу, стеклил окна, въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивление и загляденье, точно картинку, точно терем волшебный, в котором, быть может, настанет и волшебное житье,— вот что считалось важным и, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его на многие замечательные дела. В этом же искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной России, так разве лишь мужик с его прародины — из Архангельска, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли, очевидно, первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, навешанной новой жизнью и новыми просторами фантазии, привили везде и всюду — в городе и деревне, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь.

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По трафаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью: признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фантазия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным опереньем вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах — на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

«Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», — отзывался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток русской старины, имея в виду, очевидно, в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Барочной, или «гладкой», резьбы нет даже в Томске, хотя Томск благодаря относительной приближенности своей к первопрестольной издавна оспаривал у Иркутска славу лучшего и просвещенного в Си-

бири города и не без успеха до революции претендовал на сибирскую столицность. И хотя А. П. Чехов по пути на Сахалин отзывался о Томске, что это «скучнейший» город, а об Иркутске: «Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный», надо полагать, по отношению к Томску это и тогда не совсем было верно. Что же до интересующей нас сейчас старины и, главное, заботы о ней — сравнение будет явно не в пользу Иркутска, особенно по части деревянных памятников. Иркутск свою старину лишь донашивает и славен ею лишь постольку, поскольку она не успела еще везде потерять свой вид и свою ценность. Томск же свою хранит и в последнее время прямо-таки лелеет, восстанавливая силами производственной реставрационной мастерской каждый достойный внимания дом, не говоря уже о неоправданном сносе.

Дерево недолговечно, и самые древние постройки в Иркутске, конечно, не из дерева. Не сохранились, к сожалению, и деревянные усадьбы XVIII века. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом», образец постройки XVIII века, стоявший на улице 5-й Армии, борьба, окончившаяся не в пользу общественности, когда среди ночи дом снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники деревянной архитектуры наших предков. Восстановленный дом декабриста Трубецкого — малая часть того, что могло быть сделано и что не в состоянии восполнить потерь.

«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения» (Н. Гоголь).

Дерево имеет удивительную способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать — это способность передавать нам память наших предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того — Солдатских улиц не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим, 30—40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товарно-распределительным пунктом всей восточной и северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников, где гуляло около тысячи

(в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что горазд, так что улицы представляли собой извилистое и дикийное кружение. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки на месте нынешней улицы К. Маркса. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым ровом стояли рогатки, а уж за ним третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтобы не оставить былых охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Разумеется, другие стояли тогда здесь домишки, другая была планировка — все другое, но и глаз закрывать не надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь изломанную кривую грязную улочку, величавую поступь по ней бородатого красноглазого купца, направляющегося куда-то в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно хрюкнувшего на возящихся в грязи ребятишек; слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнувшей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушшиной стал причиной расцвета города, — до золотой лихорадки. Иркутск еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина — самая глухая, откуда «до бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, кроме скорого собственного обогащения, не знали здесь другой заботы. Не зря первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно с ним взошел на плаху при Петре иркутский воевода Ракитин, который, встретив за Байкалом возвращавшегося из Китая с караванной казной купца Гусятникова, ограбил его несколько не хуже профессионального разбойника; чуть позже такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало. Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказывать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы посадить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцова, «бог вразумил» пригласить за город

гостей и натравить на них знаменитого разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей и, надо думать, не бескорыстной потехе губернатора; третий, следовательно Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему высмотру» обобрал местных купцов на 150 тысяч рублей, посадил под арест самого вице-губернатора Вульфа и сам-пан разгуливал по городу, наводя жуткий страх на жителей и «по своему опять же высмотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспомнив о счастливом, казавшемся им райским правлении в конце XVII века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику, когда Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, тут же умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже и в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правееж» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замыслил его замену.

Иркутская история, как видите, знает и трагические, и смешные, забавные страницы, которые заманчиво и полезно листать как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому уму былую суровую жизнь.

Выправлением дольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся позднее, уже в начале XIX века, при генерал-губернаторе Пестеле, который изволил править обширным краем в основном из Петербурга, гражданский губернатор Трескин, прославившийся отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Трескин вообще мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы бригада во главе с Гущей, оставшаяся в летописях нашего города и в бытующей до сих пор устной молве под названием «гущинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников:

«Спору нет, что благоприличие вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоявшими не по плану. Согласно домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемоний отпилят от него сколько нужно по линии улицы, а там поправляй его как умеешь».

Иркутск, однако же, продолжал расти, хорошееть и богатеть, существуя как бы по своим собственным

законам, умея и охранять, и возвышать себя, и с редким достоинством переносить потери на протяжении всей своей истории.

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба. В прошлом веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре каменные здания по всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памяти доносят нам время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое и конкретное выражение и которые говорят об устремленности и вере человека в свою вечность.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к нынешней площади имени Кирова), можем представить себе Соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую архитектуру как в основных формах, так и в оформлении. В новом, во многом заимствованном архитектурном стиле возводится в это время Петербург, сменила свой градостроительный почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные строения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившемся после орды национальном стиле. Однако в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу нового стиля, и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые в отличие от Спасской церкви расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм, как ансамбль, как единое целое представляет собой причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных само по себе, счастливо обнаруженных при реставрации собора ке-

рамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном, и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762 г.) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному узорочью и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих условных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказаться люди прошлого, даже и мучествующие, но смотревшие на лик преображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиции думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Иркутск может гордиться тем, что Спасская церковь и Богоявленский собор теперь почти полностью восстановлены — вот почему и можно говорить об их возрождении как о чуде.

На строительство первых каменных зданий, особенно культовых, приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Однако очень скоро надобность в наемных мастерских отпала. Уже к середине XVIII века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые отливали высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжалова (не из бурят ли?), отлившего

законам, умея и охранять, и возвышать себя, и с редким достоинством переносить потери на протяжении всей своей истории.

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба. В прошлом веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре каменные здания по всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памяти доносят нам время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое и конкретное выражение и которые говорят об устремленности и вере человека в свою вечность.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к нынешней площади имени Кирова), можем представить себе Соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней донпетровскую еще, древнерусскую архитектуру: как в основных формах, так и в оформлении. В новом, во многом заемном архитектурном стиле возводится в это время Петербург, сменила свой градостроительный почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные строения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившемся после орды национальном стиле. Однако в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу нового стиля, и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые в отличие от Спасской церкви расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм, как ансамбль, как единое целое представляет собой причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как было бы ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных само по себе, счастливо обнаруженных при реставрации собора ке-

рамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и ведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном, и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762 г.) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному узорочью и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих условных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказаться люди прошлого, даже и путешествуя, но смотревшие на лик преобразуемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиции думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Иркутск может гордиться тем, что Спасская церковь и Богоявленский собор теперь почти полностью восстановлены — вот почему и можно говорить об их возрождении как о чуде.

На строительство первых каменных зданий, особенно культовых, приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли Зауральскую к западу сторону). Однако очень скоро надобность в наемных мастерских отпала. Уже к середине XVIII века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые отливали высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжалова (не из бурят ли?), отлившего

24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусев саях при колокольном звоне всех церквей тянул на веревках к собору едва ли не весь город. Любопытно, что спустя менее ста лет, когда понадобился колокол для кафедрального собора (теперь можно указать лишь место, где он стоял, — на нынешней площади имени Кирова), снова пришлось приглашать для отливки его мастера со стороны, аж из Ярославля. Зато для устройства иконостаса (по эскизам барона Розена) в новом соборе перед преосвященными встала другая проблема — кого из многочисленных иркутских мастеров выбрать, чтоб не обидеть других? После долгих размышлений и совещаний позван был молодой еще человек Н. Попов, который, по общему мнению, прекрасно справился со своей работой.

В вышедшей несколько лет назад книге академика А. П. Окладникова и Р. С. Василевского «По Аляске и Алеутским островам», рассказывавшей о работе совместной советско-американской археологической экспедиции в этих районах, приятно было встретить лестное упоминание о старых иркутских мастерах. В русской церкви села Никольского на Умнаке внимание авторов книги привлекла икона Николая Чудотворца, «одетая в серебряную ризу, превосходный образец стиля барокко. И, что наиболее важно, риза была датирована 1794 годом — временем расцвета деятельности Российско-Американской компании, главная роль в которой принадлежала иркутским купцам, в том числе самому Григорию Шелехову. Точь-в-точь такие ризы ковали в старом Иркутске тамошние искусные мастера серебряного дела. Их ювелирной работы изделия были известны далеко за пределами города».

Разумеется, не только церковные художества и ремесла были развиты в Иркутске.

Пусть коротко, хочется сказать особо о Кафедральном соборе, не дожившем до наших дней. Сличая теперь его снимки с фотографиями храма Христа Спасителя в Москве, легко увидеть, что иркутский собор возводился по образу и подобию московского, архитектором которого был знаменитый К. А. Тон. Строительство храма Христа Спасителя продолжалось с 30-х по 80-е годы — это было время возрождения и расцвета русского национального духа как в искусстве, так и в общественной мысли, время жестоких разочарований в существующем образе жизни и глубоких надежд на особую роль и «мессианство» России, время реформ и обнадеживающей свободы, особенно в последний период. В архитектуре оно также вызвало «русский» стиль, одним из родоначальников которого и стал К. А. Тон, возвратившийся на новой основе и новом опыте к истокам градостроительства допетровской эпохи.

Старый иркутянин, патриот своего города профессор С. В. Шостакович лет десять назад писал в местной газете:

«Кое-кто и сейчас полагает, что этот «новый собор», не представлявший-де особой художественной

ценности, и не следовало сохранять. Но это глубокое заблуждение. Вместе со Спасской церковью, старым собором Богоявления, польским костелом, домовою церковью и рядом старинных зданий он великолепно вписывался в замечательный архитектурный ансамбль, составляя неотъемлемую его часть. Здесь, на крутом берегу Ангары, откуда изумительную просматривалась широкая речная долина, сохранился, несмотря на иркутские пожары, удивительный уголок старой сибирской столицы — своего рода иркутский кремль».

Иркутск издавна считался купеческим городом. Мы привыкли видеть в этом понятии один лишь смысл, означающий тяжелое и малоподвижное общественное и нравственное существование, и порой забываем или не знаем о деятельности купечества в культурном и научном строительстве родного края. Деятельность эта сводилась в основном к денежным пожертвованиям, но и то куда как не худо: с каждого свое! Нельзя требовать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, чтобы они были Потаниными и Ядринцевыми, а то, что они помогали Потаниным и Ядринцевым, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, во всех отношениях забытой богом окраины. Разумеется, и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского: разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается.

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя в коренной России, так и сибирский купец разнился от тамошнего — в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелехов, которого Державин назвал «Колумбом русским», Мыльников и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компании от начала до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в 50-х годах XIX века финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малозученных восточных областей.

Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной почти вражде к правительственному чиновному аппарату, знаясь и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обу-

чение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из них были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жиру бесящихся и представляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой обстановки, которая и выделяла Иркутск из всех без исключения сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнанными, средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пугала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знаменитостей, оставивших об этом многочисленные свидетельства.

Конечно, прежде всего в этом сказывалось то, что Иркутск был местом ссылки, а ссыльные и здесь не отсиживались по углам, а работали в училищах и школах, научных и технических обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и Забайкалье несправедливостях, так что прославленному генерал-губернатору пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях — в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» — управляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Спешнев, Загоскин и Шашков. Политический ссыльный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев.

Что же до купцов — служение и богу и мамоне неполохо совмещалось здесь, как нигде: ворочая нередко огромными капиталами, сибирский промышленник мог позволить себе без особого ущерба для кармана отвалить крупную сумму и во благо родному краю и родному городу. Большинство — и это не преувеличение, именно большинство — действовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов, ремесленных и общеобразовательных училищ, в том числе для сирот-инородцев, арестантских детей и переселенцев, гимназий и библиотек построено было и содержалось на частные пожертвования, «Если все эти учреждения и капиталы со-

поставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит среди русских городов чуть ли не на первом месте», — писал многолетний городской голова Сукачев, имея в виду 80—90-е годы прошлого столетия. Если в Петербурге в это время один учащийся в начальных классах приходился на 80 жителей, в Москве — на 75, то в Иркутске — только на 29 жителей. Разница, как видите, большая.

И все-таки не одной лишь заботой о спасении своей грешной души и не только духом соперничества между собой, надо полагать, вызвана столь широкая благотворительность, плодами которой мы невольно продолжаем пользоваться до сих пор, — я имею в виду не эксплуатацию зданий, построенных в благотворительных целях, а прежде всего плоды культурные и духовные, позволяющие славы и трудами старших поколений считаться и посейчас нашему городу в ряду самых образованных и интеллигентных.

Долгое время бывший самой далекой окраиной из всех губернских центров, Иркутск, однако же, с самого начала встал так выгодно и удобно, что его не могли миновать ни водные, ни сухопутные, ни воздушные пути, ни торговые и промышленные лихорадки, ни дворцовые перевороты и революционные бури. Где бы ни происходило что — аukaлось в Иркутске, в который или через который слали на какому и в ссылку потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка; кого только не видывал на своем веку Иркутск, чьи имена навсегда остались в нашей истории!

Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый анархист Бакунин, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилуйской ссылки в Иркутск наведывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы, ни революционные демократы М. И. Михайлов и Н. А. Серно-Соловьевич. Декабристы и ссыльные поляки оказали огромное влияние на наш город в его общественном и нравственном развитии, словно не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их имена навсегда остались на карте Байкала и Присаянья, изучению которых они отдали немало лет.

В период последней перед революцией, самой массовой ссылки, когда ссыльные составляли в нашем краю треть (правда, весьма неустойчивую, наполовину находящуюся постоянно в бегах) населения, в Иркутске бывали и жилали такие деятели революционного движения, как Киров, Фрунзе, Орджоникидзе, Бабушкин, Красин, Свердлов, Постышев, Сталин и другие.

По своей доброй воле, что случалось прежде не так уж и часто, наш город навещали и оставили

нем теплые воспоминания писателя А. П. Чехов и И. А. Гончаров.

В 1920 году в Политотделе 5-й армии тут работал Ярослав Гашек.

В Иркутске остались могилы Григория Шелехова, декабристов Бечаснова, Муханова, Панова, Поджио, Екатерины Трубецкой с детьми, местных уроженцев и знаменитых деятелей русской дореволюционной мысли — А. П. Шапова, писателя и этнографа, и публициста М. В. Загоскина.

Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создавшим эту благородную славу, разумно и твердо, во имя памяти о себе, отнесемся к минувшему и сохраним то, что еще осталось. Как бы ни чтили и ни прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без

прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал Родину, которой мы вправе гордиться.

Иркутск растет и строится, как растет и строится Сибирь наших дней. Как в городе нашем достаточно места, чтобы, строя новое, не уничтожить старого, имеющего культурную и нравственную ценности, так и в душах и в сердцах наших хватит чувства на то и другое.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — сказал когда-то Пушкин. Подле этой черты мы, похоже, теперь и остановились, сознавая, что нельзя отступать назад, и не смея, но все приготовляясь и приготовляясь двинуться вперед, к подлинному уважению.

И перед столь решительным и замедлившимся шагом не сказать ли нам в утешение и поддержку — Иркутск с нами.

БАЙКАЛ, БАЙКАЛ...

Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки «неистовому» протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря-озера на западный, и он пишет о Байкале:

«...Около его горы высокие, утесы каменные и зело высоки, — двадцать тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — все богodelанно. Лук на них растет и чеснок, — больши романовского луковичи, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красныя — и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры, и таймени, стерледи, и омули, и сизи, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окиане-море большим, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени, жирни гораздо, — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для человеков, чтоб, успокоясь, хвалу богу воздавал».

«Святое море», «святое озеро», «святая вода» — так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, а у других — эстетические и научные. Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления

человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богodelанное».

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним: его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой. Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишить его таинственности и загадочности, но тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин описанных и открытых. И он стоит в этом ряду... потому лишь, что сам-то он, живой, величественный и нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторяемый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь.

Как и с чем действительно можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас любя и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и в небольшой степени организуют наш жизненный состав.

Поэтому недостаточно. сказать, что они дороги нам, мы — часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования.

И все-таки у Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделяет с особенным лещанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний.

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одном из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август — лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает вновь выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже и впрок запаса, Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, красная и черная, то жимолость... А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывшие-тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорогу то пахнет нагретым и горячим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, дотоле им не только не виданной, но даже и не представляемой. Повторяю, что она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом (так и хочется сказать: с хрустальной торжественной музыкой) сбегające в Байкал, к которым мы раз за

разом спускались испробовать водички и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затишают в вечности; прибавьте сюда еще частые тоннели, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь ненамного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно с только что окончившей игру вольностью, высятся скалы.

Все, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он, не в состоянии уже больше удивляться и восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удастся видеть и за сорок метров — и, кажется, прибавил, но он и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести—триста метров в глубину на двухкопеечной монете читаем в Байкале год чеканки, — больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой.

Помню, его докнала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и, когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились — это ладно, это бывало, — писал он. — Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...»

Я понимаю его...

А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он не знает, как в такой же точно день, когда светит солнце и недвижим почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего — словно взбученный изнутри. Смотришь и не веришь своим глазам: тишь, безветрие и грохот воды — это за многие и многие километры дошел сюда из района шторма вал.

Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются ветры, которые мгновенно, с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до четырех и шести метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь и ощущение времени, и меру дел человеческих,— так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту.

Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чивыркуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море.

Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить, а между тем под ногами может быть и метр и больше толщины; не слышал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь, под весну этот лед широкими бездонными трещинами, через которые ни пройти ни проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ними великолепные громады голубых торосов.

Он не попадал в волшебную сказку: то мчится навстречу тебе с распушенным белоснежным полотношлем парусник; то повиснет в воздухе, плавно снижаясь и как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок, то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди... Это миражи на Байкале, обычное здесь явление, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий.

Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно — на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала — это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности

или неспособности принять в себя духовное зерно.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами — в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале, словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всемогущего присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманил этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удес-теренной надеждой: там, впереди, обетованная жизнь...

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л. Н. Толстой записал:

«Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благодати старая наша беда.

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и ночью глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас. И разве все мы не слышим этот зов? Когда-то эвенк на берегу Байкала, перед тем как срубить для надобности березку, долго каялся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не оттого ли и в состоянии мы удержать занесенную уже не над березкой, как двести и триста лет назад, а над самим батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему сторицей вложенное в нас природой, в том числе и им?! За добро добром, за милость милостью — по извечному кругу нравственного бытия...

СИБИРЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может.

*В. К. Андриевич,
историк Сибири*

Слово «Сибирь» — и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещающая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком звучании уверенность и надежду, другие — тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих — если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.

В 18 веке говорили: «Сибирь — наша Перу и Мексика». В 19-м: «Это наши Соединенные Штаты». В 20-м: «Сибирь — источник колоссальной энергии», «край неограниченных возможностей». Как видим, меняется техническая вооруженность человека, меняются его потребности, меняются и характеристики Сибири. От богатств самородных, лежащих на поверхности и близ поверхности, до богатств глубинных и производительных — все есть в Сибири, каждому веку она угождала, и в оценках ее, от первых слухов до последних научно-экономических обоснований, постоянно видна превосходная степень. Но уже и теперь, когда Земля почувствовала признаки удущья, она оборачивается на Сибирь: «Это легкие планеты». Уже и теперь... Нетрудно понять, что будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет и для чего Сибирь могла бы явиться воистину целебной и спасительной силой.

Мы привыкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих, но не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в виде аналога рядом с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы — на земле, под землей и в небе. Ее собственная жизнь, столь разнovidную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего,

открытого и не открытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь — это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, — в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четырьмястами лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди.

Слово «Сибирь» так и не расшифровано, точное этимологическое значение его не найдено. Для человека постороннего, знающего о Сибири лишь понаслышке, это огромный, суровый и богатый край — все как бы в космических размерах, включая и космическую выстуженность и неприютность. И в коренном сибиряке он видит скорее продукт загадочной природы, нежели такой же, как он сам, продукт загадочного человечества. Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина, дорожка и ближе которой ничего в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите — нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая другая сторона, потому что тут пока есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге: немалые просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу. Разные взгляды на Сибирь — взгляд со стороны и взгляд изнутри — существовали всегда; пусть и сместившись, поколебавшись и сблизившись, остались они разными и теперь. Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Чтобы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это — воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких: это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь.

В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень

скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум? Земля, как планета, все более и более устанавливается на этих четырех китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надежным. И если слово «Сибирь» в своем коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чем долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выгодой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле.

Но здесь имеет случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь не рассуждение, то бы показать можно было, что предпринимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первою причиною к успехам россиян.

*А. Н. Радищев.
Слово о Ермаке*

Сибирь, находясь на одном материке с Европой, отгороженная от нее лишь Уральским Камнем, который вполне можно считать доступным, была тем не менее открыта для цивилизованного человечества почти на сто лет позднее, чем Америка.

Конечно, смутные слухи о Сибири бродили по миру издревле и, конечно, русский человек, тот же неутомимый новгородец, и торговал, и промышлял в ее владениях, проникая туда и по суше, и по северным морям, но, считая это делом обычным, отчетов о своих самовольных проникновениях никому не давал, а опыт передавал сыновьям. Новгородцы знали Югру (так назывались северные земли к востоку от Урала) еще в XI столетии, а может и раньше, впервые же слово «Сибирь» появилось в русских летописях в начале 15 века в связи с кончиной хана Тохтамыша, того самого Тохтамыша, который уже после Куликовской битвы в княжение Дмитрия Донского спалил Москву, но продержался у власти недолго и в результате междоусобных распрей был убит «в сибирской земле».

Что до слухов о Сибири, время от времени возникавших в древности в Западной Европе, — столько в них было небылиц и сказок, что одних они отпугивали, у других уже и тогда вызывали усмешку. Со слухов же Геродот записывает в «Истории», имея в виду, очевидно, Урал: «У подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками». А дальше не может не усомниться: «Плешивыцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, которые спят шесть месяцев в году».

Иностранцам в древние и средние времена еще простительно, когда они считают, что глубины Азии заселены чудовищами с песьими головами или даже вовсе без голов, с глазами и ртом на животе, но вот ведь и русский письменный источник XVI столетия, того самого столетия, когда началось государственное присоединение Сибири к России, рассказывая о зауральской стороне, повторяет старые сказки, будто люди там на зиму умирают, а по весне оживают опять. Что удивляться: несколько лет назад в Западном Берлине меня спрашивали: «Что в Сибири делают зимой?», вderзвzеz полагая, что зимой в наших краях можно только спать.

У П. А. Вяземского, литератора и друга Пушкина, о мнениях такого рода есть любопытные слова: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, сморозил глупость, — заставьте его высказать суждение о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные способности». Тем более эти слова применимы к Сибири. И в Европу не надо ходить: Сибирь долго «опьяняла» и «помрачала» своего же брата, соотечественника, который во взглядах на нее нес (и несет еще иной раз) такую ахинею и околесицу, что остается теперь пожалеть, что не нашлось никого, кто собрал бы их для забавы в одну книгу. Однако ахинея эта не всегда оставалась безобидной и выражалась порой в указах, которые следовало выполнять.

Как в древности искал, так и сейчас человек продолжает искать чудеса, которые не совпадали бы с ученой упорядоченностью мира. Сибирь, надо полагать, одна из тех областей, где человеческий дух сомнения и противоречия испытал в свою пору немалое разочарование: и здесь, в сущности, то же, что и везде.

Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич. То, что и сам Ермак и его дружина были из казаков, значило очень многое. Казак — татарское слово, оно переводится как удалец, смельчак, человек порвавший со своим сословным кругом. Казачество зародилось на Руси вскоре после свержения татарского ига и сформировалось в течение XVI века с усилением феодальной и крепостнической зависимости русского народа. Люди, не желавшие выносить никакого, в том числе и отеческого, ига, бежали от него в Дикое Поле, в низовья Дона и Волги, основывали там свои поселения, избирали атаманов, принимали законы и начинали новую и вольную, никакому царству, никакому ханству не подчиненную жизнь. Позже русскому казачеству пришлось таки идти под цареву руку, потому что иначе ему было и не выжить, но тогда, в XVI столетии еще нет, тогда казаки сами себе были хозяева. Царские власти, играя на патриотических чувствах, могли использовать их против своих беспокойных южных соседей, против Турции, крымских и ногайских татар, но могли за самовольство или в результате дипломатических маневров с теми же соседями насладиться на них карательные экспедиции — отношения между

Москвой и вольным казачеством всегда были сложными, а в первое время в особенности. Одно хорошо: если России угрожала серьезная опасность, казаки считали своим долгом выступить на ее защиту, откуда бы эта опасность ни исходила, — или от ближней Турции, или от дальней Литвы. В Ливонской войне, как доказывают в последнее время историки, принимал участие накануне своего сибирского похода и Ермак Тимофеевич.

В покорении и освоении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только особое сословие людей дерзких и отчаянных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им.

Говоря о фигуре Ермака, трудно не приостановиться и не отдать дань нашей российской слабопатливости и небрежению... После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз. Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности замирает — словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких сибирских снегах. Однако о Колумбе, открывшем Америку, нам известно все: и откуда он был родом, чем занимался до своего «звездного» часа; известно, когда, какого числа и месяца вышел в первое свое плавание, и во второе, и в третье, и в четвертое, когда достиг американского берега, когда флагманская «Санта-Мария» села на рифы и что было потом... Что Колумб! — о древнеримских императорах и патрициях мы помним больше, чем о Ермаке. Ну ладно, не мог он вести, как Колумб, судовой журнал, не было возле него, как возле Нерона, замышлявшего убийства, расторопного историка, но ведь не оказалось и совсем никого, кто бы понимал значение его фигуры и величие его похода. Это уж после спохватились, когда выяснилось, что не знаем ни имени Ермака, ни рода, не запомнили и не записали, в каком году выступил он против Кучума; сколько его отряд насчитывал казаков и чем помогли Строгановы, за один ли переход, как считает известный историк Р. Г. Скрынников, он добрался до столицы сибирского ханства Искера, или ему потребовалось возвращаться после зимовки обратно, а затем снаряжаться вновь. Строгановские летописи мы вынуждены подозревать в неточности именно потому, что они строгановские и могли преувеличивать роль этой фамилии в деле присоединения Сибири; на другой документ, на Синодик тобольского архиепископа Киприана, составленный спустя сорок лет после Ермака по рассказам оставшихся в живых участников похода, мы также смотрим с недоверием: уж очень хотелось преосвященному в интересах местной церкви сделать из Ермака святого и потому не подходящие для канонизации факты из его жизни он не задумался бы приукрасить или опустить. Не зря говорят: кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым.

И вот уже не одно столетие мы гадаем: верно ли, что Ермак, как поется в народных песнях, до Сибири погуливал, подобно Степану Разину, по Волге и Дону да потрагивал не без корысти купеческие и царские караваны? Или народ, путая добродетели, награждает для пушей славы своего героя тем, что за ним не водилось? Спорим: Ермак — это прозвище или усеченная форма имени Ермолай? А может, от Еремея, от Ермила? Споры эти не прекращаются до сих пор. В 1981 году в Иркутске вышла книга А. Г. Сутормина «Ермак Тимофеевич», в которой читаем: «Итак, Ермак родом не с Дона, он уралец, с реки Чусовой. Его имя Василий, отчество Тимофеевич, фамилия Аленин... А Ермак только прозвище, кличка». В книге Р. Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака» (Новосибирск, 1982 год) с той же уверенностью уже совсем иное: «Возможно, в строгановских вотчинах XVI или XVII веков и жил разбойник Василий Аленин, но к Ермолаю Тимофеевичу — историческому Ермаку — он не имел никакого отношения... Что же касается имени Ермак, то его следует рассматривать не как прозвище, а как сокращение полного имени Ермолай».

Едва ли теперь удастся открыть истину, если она не открылась раньше, ближе к действительным событиям. Вероятней всего, придется Ермаку, «родом неизвестному, думой знаменитому» (Н. М. Карамзин) оставаться, как и прежде, Ермаком. Можно и расщедриться: мол, дело не в этом. Нет, отчего же — и в этом тоже. Не след нам гордиться, что от короткой памяти мы на короткой ноге со своими героями. Но нет, оказывается, и в этом случае худа без добра: среди воздаваемых ныне Ермаку почестей, которые приводятся в вышеупомянутой книге А. Г. Сутормина, есть и такая: «В молодом сибирском городе Ангарске спортивный коллектив химиков «Ермак», названный в честь первопроходца, успешно умножает свою спортивную славу». Полным да еще законным именем спортклуб химиков называть было бы несподручно.

Но тут уж, верно, дело не в этом. Народ русский во все четыреста лет, прошедших после легендарного похода, помнит, как:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским» ремеслом. Его соратники могли, а он — нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которое редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предполагать, зная те времена и нравы, чтобы человек, проводивший

в Диком Поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберется. бы от привычных для казацкой вольницы занятий. Как в песне:

Ты прими, де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!

Итак, Ермак со товарищи гулял на Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешение на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы поглядывали вожаденно на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой — Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естественно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.

Нам теперь уже не узнать в точности, от кого исходила инициатива — от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгановых, решившихся наконец на серьезные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.

Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством. Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массы. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрых не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолудин явился вырази-

телем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».

Эти другие свершили подвиг не менее удивительный.

Нет! Все, что мог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в истории мира, который бы в полтора столетия прошел пространство, больше пространства всей Европы, и утвердился на нем! Все, что он сделал народ русский, было выше сил его, выше исторического порядка вещей.

Н. М. Ядринцев

Непонятно, почему Н. М. Ядринцев, знаменитый сибирский писатель и ученый прошлого века, говорит о полутора столетиях, в которые народ русский прошел Сибирь и утвердился в ней. Очевидно, это относится больше к «утвердился», занял Сибирь во всю ее мощность и ширь и рассмотрел, где заводить пашню, где промышленать зверя, а где копать рудники.

Ермак овладел столицей сибирского ханства Искером осенью 1582 года, в августе 1585 года погиб в неравном ночном бою, после чего его оставшийся в живых отряд вынужден был отойти, а уже в 1639 году енисейский служилый человек Иван Москвитин поставил на берегу Охотского моря зимовье, и русские вышли к Тихому океану, в 1648 году Семен Дежнев проплыл проливом, который отделяет Америку от Азии. Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимую в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдая от холода, голода, болезни, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, все дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи «распросных речей», и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, и просто затеси, указывающие путь, — для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И сейчас, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей мы без заминки называем подвигом, нелишне бы помнить нам и нелишне бы почаще представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам.

«Он идет по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжелой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он перескачет огромные снежные просторы, мчится на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела с черными перьями. Он не щадит себя в «съемном» — рукопашном — бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя считать. Он спит на снегу, кормится чем попало, годами не видит свежего хлеба, часто ест «всякую скверну» и сосновую кору. Ему много лет не платят государева жалованья — денежного, хлебного и соляного. «Поднимаясь» для приска новых рек и земель, он все покупает на свои деньги, залезая в неоплатные долги, подписывая кабальные грамоты».

Так рисует портрет первопроходца известный писатель Сергей Марков, начиная свой очерк о Семене Дежневе. И это далеко не все напасти, которые подстерегают на длинных путях «добытчика» и «прибыльщика». Прибавьте сюда еще несправедливость и алчность воевод, таких, как якутский стольник Петр Головин; прибавьте лукавство и заспанные действия местных князьков, на которых нельзя было положиться; «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской скотлке; борьба вплоть до боев, с отпавшими отрядниками, как у Хабарова с Поляковым или у Дежнева со Старухиным, — это все сверх суровости сибирской природы. Они и терпели кораблекрушения, и исчезали бесследно, не оставив о себе ни единой памятки, и зимовали не по разу в местах, называемых ныне полюсами холода, и теряли рассудок в полярных ночах... что и говорить! — Сибирь взяла с них свою дань сполна. Они выходили в пути крепкими и телом и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых едва ли могли предвидеть и десятую часть, и они заканчивали их, кому удавалось закончить, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки, людьми, под которыми должна была поклоняться земля. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремленное на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления. Для осознания их изнурительного подвига не хватает воображения, оно, воображение наше, не готово следовать теми долгими и пешими путями, какими шли сквозь Сибирь эти герои.

Что же вело их на восток, что заставляло, преисполняя мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, по-

ставить им под ясак новые народы. Вело, разумеется, и это, но будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те пятьдесят или шестьдесят лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горностая не успели еще выбить и в «проведанной» части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности. Чего бы, казалось, разумней: как следует обустроиться: запастись в достатке провизией и провиантом, обеспечить, по-нынешнему говоря, надежные тылы, а затем не спеша и наверняка двигаться дальше. Но нет, они спешат. А как, представьте, выдержать спокойную и разумную жизнь, как усидеть на месте, если, слышно от кочевников, впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, по которой живет большой и мастеровитый народ (якуты), а затем реки и вовсе поворачивают встречь солнцу. Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное «завось». Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забитый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самлюбие.

У нас не принято ставить памятники отличившимся городам. А было бы справедливо где-нибудь на просторах Сибири, предположим, на той же Лене, где к середине XVII века собрались самые деятельные «землесведыватели», выказать и подтвердить благодарную память сибиряков Великому Устюгу, городу теперь захиревшему, выпускающему гармоники. А в то время Великий Устюг, когда-то бросавший вызов самому Великому Новгороду, еще гремел, и величие свое он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, Василия Бугра, Парфена Ходырева и многих, многих других, добывших себе по сибирским рекам, морям и волокам мужественную славу. Все они из Великого Устюга. Это не только удивления достойно, но кажется невероятным: что за оказия! как их там, в колыбели мореходов и открывателей, наставляли, чем укрепляли дух и кость? Тут бы для гордости в веках хватило и одного Семена Дежнева, открывшего «Берингов» пролив. «Одиссеей» Ерофея Хабарова почла бы за честь хвалиться любая столица, будь он из нее родом. Или Атласов, покоритель Камчатки! А Поярков, «приискавший» огромные территории Северо-Восточной Сибири! И как знать, не из Устюга ли вышел и легендарный Пенда, поперед всех проникший на Лену из «златокипящей» Мангазеи? Не устюжанином ли был и Петр Бекетов, об одной из экспедиций которого И. Фишер в «Сибирской истории» писал:

«Намерение свое он произвел с таким малым числом людей, что почти невероятно показалось бы, как россияне могли на то отважиться».

Кстати припомнить еще, что дважды в течение десятилетия (в 1630 и в 1637 годах) Великий Устюг вместе с соседями — Тотьмой и Сольвычегодском — снаряжал в далекую Сибирь большие отряды девиц в «жонки» русским служилым людям. Как не считать после того сибирякам этот город своим родным, как не поклониться ему издалека кровным поклоном! Да и всей русско-северной сторонухе, где Новгород, Вологда, Архангельск и Вятка, следует поклониться: оттуда вслед за казаками пришли пашенные и мастеровые люди, оттуда началось первоначальное заселение Сибири.

Сибири суждено было войти в плоть и кровь России, так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клином, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но русской и оседлой Сибирь сделали не войны, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. Волны, которыми двигала нажива, накатывали и откатывали — за пушниной, мамонтовой костью, за золотом и другими драгоценными металлами — и, выбив, выбрав богатства, опустошив сибирские леса и по тогдашним возможностям сибирские недра, искатели скорого счастья уходили восвояси и распускали мрачные слухи о том, что Сибирь — страна мертвая и бедная, непригодная ни для удачи, ни для сытого жития. Всегда так — ограбленному спасибо не говорят. Но последние умы еще в прошлом столетии заявляли, удрученные малой, как казалось, производительной отдачей Сибири, что она, Сибирь, питаясь соками России, знает лишь отнимать силы у своей кормилицы. А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между тем распахивал степь или корчевал под поле тайгу и год от года сеял и собирал хлеб, растил детей, умножал семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным. Мнения о Сибири менялись, интерес к ней то вспыхивал, то снова пропадал, из золотого колодца она превращалась в нечто вроде мусорной ямы, куда сваливали всех мастей преступников и нежелательных для правительств людей, а он, крестьянин, знай себе работал да работал и тяжелым трудом и нелегкой жизнью родился с Алтаем, Енисеем и Леной все прочней и прочней.

Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорилась тому, кто ее накормил. Уже через сто лет после Ермака она стала обходиться собственным хлебом, а еще через сто — не знала, что с ним делать. Интересно, что противники строительства через Сибирь железной дороги в прошлом веке выставляли одним из главных доводов опасение, что по этой дороге Сибирь беспрепятственно завалит Россию своим дешевым хлебом, а России, мол, и собственного девать некуда.

Он, крестьянин, и прирастил окончательно Сибирь к России, сохой завершив огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие, начатое Ермаком с помощью оружия. И надо признать: Сибирь досталась России легче, чем можно было предполагать. Досталась как великая удача, как небывалый, по слову сибиряка, фарт.

Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укоренившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как-то: бесчестия, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия — она отличается какою-то особою широтой сердца и мысли, истинным великодушием.

Михаил Бакунин

Если бы удалось собрать всю разногласицу высказываний вместе, выяснилось бы, что несибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. И это тоже в характере сибиряка. Он скорее будет несправедлив, преувеличивая свои недостатки, чем достоинства, и он не станет скрывать разочарования в своих земляках и в своей родине, которые ему хотелось бы видеть совершенней и лучше.

Конечно, попав в другую природную обстановку, оказавшись среди аборигенов, коренных жителей этих краев, столкнувшись во многом с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателя старой части России. Как европеец в Америке превратился в тип янки, так и русский в Сибири видоизменился в тип сибиряка, имеющего отличия и в психическом складе, и даже в физическом облике.

Сразу за Уралом вы встретите лица с азиатчиной. Признано, что с самого начала русский в Сибири оказался превосходным колонистом. Правда, и здесь были попытки устроить по примеру Северной Америки рабство, материалом для которого послужило бы местное население, однако попытки эти мало сказать ничем не кончились, но провалились с треском, осужденные и правительством, и нарождающейся общественностью, и практикой переселившегося сюда простого мужика.

Что касается правительства, надо сказать, что во всех серьезных спорах между русскими и инородцами, оно, как правило, брало сторону последних. Так было и при Петре, и при Екатерине. Конечно, это не мешало воеводам и их людям нещадно обирать и унижать инородцев, но простой мужик, устроившись на новом месте рядом с бурятом или тунгусом, сразу и без труда входил с ним в дружеские отношения, передавая ему свой опыт пахаря и мастерового и перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русским это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до

того увлекся, что практика эта встревожила и правительство и церковь. Еще в 1622 году московский патриарх Филарет взыскивал с сибирского архиепископа Киприана: «Ведомо нам учинилось и от воевод, и от приказных людей, которые прежде сего бывали в Сибири, что в сибирских городах многие служилые и жилецкие люди живут не христианскими обычаями, но по своим скверным похотям; многие де русские люди... с татарскими, и с остячками, и с вогулицкими погаными женами смешаются и скверная деют, а иные живут с татарскими некрещеными и деют с ними противность...»

Церковь, впрочем, не была последовательной в своих требованиях, и одним перстом запрещая смешанные браки, другим разрешала их при условии, если иноверцы пойдут под крест. Изредка присылаемых в жены из российских губерний партий девиц не могло хватить на весь огромный край, кроме того, русский мужик вправе был поступать по собственному выбору, поэтому ничего удивительного, что чем дальше в глубь Сибири, тем больше смешанных браков и тем чаще азиатчина в русских лицах. В Восточной Сибири, к примеру, едва ли не каждое четвертое или третье лицо — с раскосыми глазами и широкими скулами, что придает женской красоте новую очерченность и выразительную свежесть, отличающую ее от усталости и стертости красоты европейской. Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью, быть может, как характер и не выделился во что-то совершенно особое, но приобрел такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступленность в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от нее быть не может. Все это, возможно, еще не построено, во всем видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, — природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца, но видно, что делом этим она занимается не без удовольствия.

Говоря о характере русского сибиряка, не лишне повториться, что с самого начала его формировала народная воляница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло «по прибору» и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков — религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о сторонушке, где бы вовсе не водилось никаких законов. Рядом с авантюристом ша-

гал праведник, рядом с тружеником — пустожил и пройдоха. Религиозный раскол XVII века двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Еще и теперь в наших лесах находят их поселения, где человек в языке, обычаях, верованиях, в одежде и способах существования остался таким же, каким он был триста лет назад. Можно удивляться фанатичности этих людей, но нужно удивляться и их жизнестойкости и твердости, выходящих за границы наших представлений об этих понятиях. Все сходилось в Сибири — и староверческая община, отличавшаяся чистой и крепкой нравственностью, противостояла здесь ссыльно-уголовному братству, которое держалось законами совсем другого рода. Н. М. Ядринцев отмечал: «Эти села потому и носят характер старины, потому в них видна сила и порядок, что главную массу их населения составляют раскольники. И в других раскольничьих селениях Сибири, где бы они ни попадались, в Восточной или Западной Сибири, видна та же порядочность, то же довольство во всем. Самая наружность жителей другого рода, точно они составляют особое племя. Красивые, полные, белолицые, свежие женщины в цветных, опрятных сарафанах, опрятные, почтенного вида старики, красивые парни; во всем порядочность, чистота и довольство».

И теперь человек из семейских, как называют староверов, вызывает даже и в сибиряке особые уважение и интерес: из семейских — значит, как правило, надежный товарищ и отменный работник.

В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось обратно. Были времена, когда она напоминала проходной двор — со всем тем неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это остается и сейчас. Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывают на громкие сибирские стройки, накатывают, как и положено прибою, с шумом, музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и незаметно исчезают — словно уходят в песок. Опять новый прибой и новые тысячи и опять спячивающимися и потайными ручейками отлив, оставляющий на местах весьма небольшую часть прибывших. Объясняется это прежде всего устоявшимся отношением к Сибири: как быстрее и дешевле взять ее богатства. Забота о людях, в которой не приходится сомневаться, в сибирских условиях подчас соскальзывает на несколько порядков вниз, а поднимать ее с самого начала, с учетом этого соскальзывания, на несколько порядков вверх не всегда получается.

Нечего и говорить — жить в Сибири нелегко. Климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным, то и дело подкидывающим сюрпризы, когда под Новый год может зазвучать капель, а в июне пойти зимний снег, едва ли стал более мягким. Суровость и неуютность этих краев издавна устраивали строгий отбор колонистам и всевозможным покорителям. Чтобы прижиться и остаться здесь,

нужно иметь дух сибиряка — не минуты подъема, а состояние постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям и неприятностям и умение преодолевать их без излишней затраты сил. Этот дух обязательно должен родиться в Сибири, он может развиться где угодно, но должен соответствовать Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутствующим движением. Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколением, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее страдающие на чужой для них земле, и есть — кто словно создан для Сибири и, попав сюда, осваивается без особых трудностей. Так что сибиряк — это не только толстая кожа, привыкшая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упорство в достижении цели, выработанные местными условиями, но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом. Сибиряк редко изменяет своей родине; охота к перемене мест, ставшая повсюду эпидемией, у него замечается все-таки меньше и существует, как правило, в пределах своего родного края. Отчая земля, живущая в каждом из нас изначально, в сибиряке существует более требовательной страстью — потому, быть может, что и досталась она с великими трудами, память о которых еще не затерялась в череде поколений.

Без упорства и упрямства, в которых нередко упрекают сибиряка, человек здесь не смог бы долго продержаться. Первым насельникам, основателям деревень и сел, в буквальном смысле пришлось отвоевывать в глубинной Сибири у тайги каждый клочок земли. Стоило чуть ослабить силы — лес наступал на отнятую у него распаханную полоску. Тайга стояла стеной, далеко над тайгой нависали горы, с которых никогда не сходят снежные шапки. Длинная зима выматывала силы душевные, короткое лето требовало вдвое больше сил физических. Среди лета ни с того ни с сего вдруг могли ударить заморозки и погубить урожай в тайге, в огороде и в поле на корню, зимой оголодавший зверь заходил в деревню и задирали домашнюю скотину, нападал на человека. В тепло угнетал гнус: комары, мошка да еще мокрец — крохотная, едва видимая ядовитая мушка, тучей налетающая в ненастье. Скот, донимаемый мошкой, пасся только ночами, днем стоял взаперти под дымокурком, люди работали в натянутых на голову волосяных сетках, под которыми трудно дышать, обмазавшись к тому же еще для верности дегтем. Все это от дедовских времен дошло и до нас: в моем детстве, в 40-х и 50-х годах, без сетки в среднем и нижнем течении Ангары нельзя было выйти на улицу и на две минуты, в 30-градусную жару (не до загара) обвязывались и закутывались в тряпки с головы до пят, чтоб — упаси господь! — не остался где лоскуток тела; вымазывались дегтем как черти, набивали в голенища сапог и ичигов траву, закрывая все ходы и выходы, — и помогало мало: ходили с опухшими глазами, с разъеденными, в кровавых полосах, руками и ногами.

Про наших комаров итальянец Сомье, побывав-

ший за Уралом в конце прошлого века, писал: «Если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». За двести и сто лет до того и сто лет спустя комары здесь, кажется, мало изменились, лучше человека приспособившись в нынешнем веке и к дыму, и к угару, и ко всем остальным изменениям в их владениях.

Чтобы выстоять и не опустить руки, мало было иметь крепкие силы, надо было иметь еще и крепкий дух, дух гордого сопротивления и неубывающего упрямства: а все-таки выдержу, не уйду, все-таки я сильнее.

Не подправил ли бог этот край в Сибирь в самом конце своего творения, когда он усомнился в человеке? — вот как, озирая со своего поля растилающиеся перед ним неласковые дали, в скорбной гордыне мог размышлять в ту пору сибиряк.

Прибавьте к его несчастьям в прошлом еще одно зло — бродяге. Известно, что Сибирь — край каторги и ссылки, куда со всей огромной и законом не устроенной империи сваливали за всякую, большую и малую провинность, полагая это пользой для малонаселенного края. Почему-то принято считать (надо думать, по воспоминаниям, которые уголовники не пишут), будто сюда направляли едва ли не только политических ссыльных. Кстати, с политическими ссыльными, от декабристов и польских повстанцев до марксистов и большевиков, Сибири повезло, хотя сами они, оказавшись здесь, разумеется, не считали, что им повезло. Но добро есть добро, в каких бы обстоятельствах оно ни творилось, и для нашего темного в ту пору и малоизученного края их деятельность в науке, культуре и просто нравственном и личностном воспитании явилась огромным благом. Одно присутствие здесь декабристов, разбросанных в ссылке по всем просторам Западной и Восточной Сибири, имело на общественность такое влияние, что, во-первых, будучи во многих местах разрозненными умами, она стала общественностью и, во-вторых, обрела цели, которые в конце концов привели к открытию Томского университета.

Но Сибирь в основном была наводнена уголовниками. В некоторых углах их насчитывалось больше, чем местных жителей, и понятно, что ничему другому, как своему ремеслу, они их учить не могли. Дело даже не в развращении нравов; коренной сибиряк был достаточно устойчив, чтобы не поддаваться ему, — главная беда исходила от густого бродяжничества этих людей. Надзор за ними никуда не годился, убежать с места поселения было намного легче, чем выжить затем в дороге, поэтому человек, решившийся на побег, готов был на все — на воровство, на грабеж, на убийство. Это мы теперь, выпевая жалостную песню о бродяге, который «к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет», сокрушаемся о его погубленной судьбе, — предок наш плакал от него горькими слезами. Он держал оружие не только против зверя, но и против темного человека, который в любой момент мог постучать в окно и потребовать все, что ему заблагорассудится. Надо

ли удивляться после этого недоверчивости и скрытности сибиряка, его якобы недружелюбности и холодности? Да, недоверчив, холоден, приглядчив, но только поначалу, пока не изучит тебя и не поймет, что ты за гость. А разглядит, убедится, что ты зла не несешь, — и душа нараспашку, и этот же человек, который вот-вот, казалось, завернет тебя с порога, принимает и угощает как родного брата, без лишних слов и ненужных чувств, но хлебосольно, дружелюбно, с той искренностью и радушием, с которыми и должен радоваться в этом мире человек человеку.

О гостеприимстве сибиряков ходят легенды, быть может, несколько преувеличенные, имеющие, однако, немалые основания, чтобы им появиться и держаться.

Деревни и села по рекам отстояли друг от друга далеко и были небольшими, круг людей в них один и тот же, поэтому, истосковавшись в долгом таежном промысле и страдных делах по свежему человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями и односельчанами отличались основательностью и серьезностью. Сердце по пустякам на мелкие обиды и ссоры не сворачивали, а дружили — так дружили, враждовали — так враждовали, все в полную силу и по полной мере.

Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и индивидуализмом: одно — для связей с миром понятным и привычным, другое — для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибирь хватало с избытком. Уходя из таежного зимовья, охотник обязательно оставлял сухую растопку, спички, соль, еду — мало ли в каких обстоятельствах может оказаться человек, который придет сюда вслед за ним. Этот закон неукоснительно соблюдался веками и стал исчезать только в самое последнее время. Для тех же бродяг, от которых сибирский старожил много страдал, он, запираясь на ночь, не забывал вынести на специально вырубленное для этой надобности в глухом заплоте окно кринку молока и буханку хлеба: поешь, путник, и следуй дальше. Выносил прежде всего из сострадания, а ум потом — чтобы отвести от своей усадьбы злую руку. И принято было отдавать последнюю копейку, когда по городам и селам, от дома к дому и от избы к избе незнакомые люди, пряча глаза, собирали «на побег товарищу».

Но больше всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь — как земля, как мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая и несущая его родина. Подобно тому, как «в народах отражается их отечество» (А. П. Шапов), в человеке отражается его отчий край.

Нас могут подавить лишь то величие, та мощь, которые неестественно и резко выделяются среди всего остального, делая сравнение грубым и печаль-

ным. Когда же все в природе вокруг соразмерно, выдержано в одном крупном масштабе, это возвышает, в свою очередь, и человека. Генетика земли — вещь столь же изначальная и определенная, как и генетика крови. Ввиду великой природы и ее неослабевающего торжества человек невольно чувствовал себя значительным и сильным. Малолюдность увеличивала в нем это настроение. Огромные труды, затраченные, чтобы закрепиться и выжить на этой нелегкой земле, способствовали относиться к себе с уважением — как к величине того же порядка, что и все вокруг, и даже выше. Весь мир рядом дышал суровым достоинством и свободой, затаенной глубиной и крепостью, и во внешнем покое ощущалось пружинистое напряжение — сибиряк, естественно, перенял этот дух, и, наложившись в нем на стихию прадедовской вольности, он затвердел, пожалуй, чуть больше, чем надо. Неверно, что сибиряк не общителен, но общительность его с равным носит характер соревнования и соперничества, с неравным — покровительства. И то и другое проявляется без нарочитости и принятой на себя роли, проявляется само собой, но всегда сибиряк помнит, что он сибиряк, и дает понять это другим. Гордость от своего природного происхождения доходит в нем порой до гордыни. Сейчас это качество, разумеется, сильно ослабло, но не утратилось совсем.

Важно еще, что здесь никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык полагаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько можешь — бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Русская пословица: «На бога надейся, да сам не плошай» — имела тут прямой и практический смысл. И действительно, сибиряк не отличался глубокой созерцательностью и набожностью (кроме, разумеется, раскольников), расчетливый ум преобладал в нем над чувством, но преобладал не из корысти, а из самого состава здешней старожилы. Странно было бы искать в этом рожденном из постоянного сопротивления, закаленном в лишениях, «огнеупорном» духе расслабленность и размягченность, свойственные жителю степной России. Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы показать, что в нем есть и чего нет. Он и голову задирает, глядя в небо, как на могущественного соседа, мечтая верой приспособить его для себя и своего хозяйства.

Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло произойти с человеком, за которым долго не поспевали ограничительные законы.

Но, размышляя о сибиряке как о выделившейся благодаря отбору и местным условиям русской ветви, не следует забывать, что он расселился на огромных территориях, происходил из различных социальных групп и только поэтому уже не мог быть

одного лада и одного покроя. Алтаец, выходец из сурового раскола, и забайкалец, предок которого сослан был в рудники, или прямой потомок вольного казака на берегах Енисея — все они мало походят друг на друга. И потому всякие попытки вывести из сибиряка нечто единое и общее имеют весьма приблизительные очертания.

Впрочем, на то он и сибиряк, на то она и Сибирь, чтобы не поддаться полному извлечению из себя и остаться вещью в себе.

Мы любим иной раз сказать не без гордости: «Сибирь — Россия больше, чем Россия».

В этих словах, появившихся не сегодня и ставших поговоркой, нет и намека на противопоставление или на спор. Сибирь и Россия — одно целое, Сибирь без России не существует, и пускаться по этому поводу в доказательства нет необходимости. Речь о другом. Быть может, из ложного патриотизма, а быть может, из сдвинутых в свою сторону наблюдений, но хочется верить, что некоторые качества русского человека сохранились в сибиряке полнее и лучше. Заслуги в этом мы себе не берем, так сложилось, и не может быть, чтобы чувства наши совсем не имели под собой никаких оснований. Еще в прошлом веке — отмечалось: «Сибиряк-крестьянин представляется тем русским человеком, каким он был в России древле, до появления кабалы, холопства, крепостного права; природные свойства русского земледельца получили здесь свободное развитие» (С. Я. Капустин).

Можно припомнить в этой связи, что всякое иностранное влияние, будь оно немецким или французским, которым, как пожаром, загорались прежде время от времени российские столицы, добравшись за тысячи верст на лошадаках до Томска или Иркутска, неминуемо покрывалось сибирским куржаком и переходило на крепкий сибирский «диалект». Можно сослаться на традиционную недоверчивость сибиряка, который не вдруг бросится исполнять погоняющие друг друга указания, дотошливо примериваясь, будет ему от них польза или нет. И можно, внимательно присматриваясь к сибиряку, заметить, что при всех потерях, случившихся в его характере в последние десятилетия, он остается все же в границах более или менее здоровой морали и искренних отношений, что по нынешним временам ой как не худо. Но самое важное: русский человек (как и всякий другой в своем изначальном национальном замесе), чувствующий себя вполне русским и вполне человеком лишь среди создавшей его материнской природы и растерявшийся там, где связь с нею нарушена, в Сибири все-таки имеет пока возможность жить среди родных степей и родных лесов. Хотя и приходится оговориться, что возможность эта с каждым годом стесняется и уменьшается, а если и действительно удастся совершить поворот сибирских рек, она, бесспорно, исчезнет совсем.

Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» силь-

но разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие. Бесследно ничто не проходило — ни каторга и ссылка, ни массовое переселение крестьян после освободительной реформы и до начала первой мировой войны, когда в Сибирь перебралось четыре миллиона человек — почти столько же, сколько в ней было своего населения. Лишь крепкие, устоявшиеся нравы, не без помощи матушки-природы, в течение десятилетий смогли воспитать из них сибиряков. При этом важно еще, что переселенец приходил сюда на постоянное жительство и волей-неволей вынужден был считаться с местными писаными и неписаными законами. Когда же тридцать и двадцать лет назад началось новое «покорение» Сибири и хлынули на стройки могучие призывные волны, для них этого препятствия уже не существовало. Молодежь ехала сюда прежде всего как на строительную площадку, откуда, сделав свое дело, научившись ремеслу и заработав на семью, в любой момент могла уехать — как оно чаще всего происходило и происходит. Быть может, у возвращающихся из Сибири и остается к ней теплое чувство, которое они увозят с собой, но на месте они оставляют легкое и стороннее отношение к земле, на которой им временно довелось работать и которая так и не стала для них родной.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И перед числом временных и сезонных людей коренной сибиряк вынужден был посторониться. Он и пашет, и строит, и рубит, и добывает, доля трудов его в происходящих в Сибири переменах гораздо больше, чем это может показаться по газетам и журналам, привыкшим выбирать героев среди иностранцев, но все он делает как бы вослед, увлекаемый мощными хозяйственными и индустриальными потоками. Он словно бы инстинктивно, по чувству и долгу сибиряка, выбирает место, откуда способней и легче будет порадеть о родной для него земле.

И в городе, и в деревне он сильно изменился, теперешний сибиряк. Но он все еще сибиряк, и тем сильнее он тоскует о потерянных своих качествах (для примера можно сослаться на героев книг и фильмов Василия Шукшина), чем больше они были необходимы ему для крепости и надежности в жизни. Но именно это и дает надежду, что за оставшееся в нем «нутро» он станет держаться со свойственными ему упорством и упрямством.

А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом.

И. А. Гончаров

Холодные и дикие просторы!..

Как давно были сказаны впервые эти слова и были ли они сказаны кем-то, или они всегда беззвучно и властно, как дух, стояли над Сибирью, ниспуская на человека путешествующего тоску и тревогу? Ибо если и были они сказаны, то челове-

ком путешествующим, заранее робевшим перед теми огромными расстояниями и тяжелыми испытаниями, которые ему предстояло преодолеть. Он переезжал Урал, останавливался перед пограничным столбом, исписанным прощальными, раздирающими душу надписями каторжников и просто людей, не ждавших впереди ничего хорошего, потом трогал дальше, но впечатление, оставленное надписями и усиленное собственной печалью, овладевало им надолго. Медленно и томительно стягивались назад версты, одна и та же стояла перед глазами картина, как казалось ему, унылая и безжизненная, сквозь которую донимавшая его разбитая дорога напоминала дорогу в ад. А тут еще по ней, по этой дороге, колонны несчастных — то арестантов, то переселенцев, ищущих доли, оборванных и напуганных, а тут еще встречный краснорожий лихач попутешествует без причины злым словом — все как на обороте нормальной человеческой жизни, все как в лихоземье, как на оставленной без благословения чужбине, которой никогда не обогреться и не обласкаться и которую нельзя представить для кого-нибудь желанной родиной.

С этим настроением и ехал путешественник и день, и два, и три, сквозь тяжелое раздумье заметив однажды, что небогатый лес по сторонам дороги сменился степью. Но и она надолго застыла в своем однообразии, и она казалась бесконечной, не способной вызвать теплое чувство. Ее приходилось лишь терпеть и ждать, что будет дальше, и в худшей, но новой картине надеясь найти облегчение для изнуренного взгляда.

И оно, облегчение, действительно наступало. Очнувшись, как от глубокого сна, путник вдруг отмечал с удивлением и отрадой, что и утомившие его колки, и все чаще и смелей выступающие из непроезжих краев леса с сосной и лиственницей, и сама земля, постепенно теряющая ровную стать, начинают волновать его все сильнее и сильнее, все ошутимей рождая в нем отзыв как бы на изначально заказанную встречу. И он уже не понимал, отказывался понимать, почему мог он равнодушно смотреть по сторонам, что случилось с ним, если отворачивался он от этой редкостной красоты.

Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадах в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея. «Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст». И даже женщина — «женщина здесь так же скучна, как сибирская природа». А подъехав к Енисею, ахнул: «...в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея». И следовал дальше в восторге и от сумрачной бесконечной тайги, и от рассказов бывалых людей об охоте и жизни.

Другой русский писатель И. А. Гончаров, за сорок лет до Чехова проезжавший Сибирь в своем кругосветном путешествии с противоположной стороны — от Охотского моря, после богатых и тучных тропических красот, после Китая и Японии, пона-

чалу едва выносил стылые и раскрытые просторы Северо-Восточной Азии. Но неподалеку от Лены встрепенулся и он. И даже от зимней, укрытой снегами и льдом, даже от безжизненной в эту пору великой реки отыскалось в уставшем путешественнике свежее чувство восторга и проникновения, с которым он, называя себя романтиком, и продолжал путь.

В обоих случаях так оно и должно было случиться. С какого края к ней ни подъезжай, Сибирь не торопится раскрываться, и лучшие свои творения с любовью и вкусом она расположила в глубине. Впрочем, это еще и вопрос: что считать лучшим? Идва человека не сойдутся здесь в одном мнении. Мне, как жителю срединной Сибири, представляется, что лучшее — подле Байкала, Саян и Енисея; алтаец станет уверять — что у него, на Алтае; чукча — что оно по берегам холодных северных морей. Каждому из нас мила своя родина, вот еще качество сибиряка: горячий патриотизм. Но сейчас речь идет не о местных мнениях, а об общем и, по возможности, беспристрастном взгляде на Сибирь, как на страну, которую творила Природа.

Уверен: те же самые картины, которые при въезде в Сибирь показались нашему путешественнику унылыми и безрадостными, на обратном пути преобразятся до такой степени, до того станут и уместными, и притягательными, и способными сильно подействовать на эстетическое чувство, что он возьмется оглядываться в недоумении: полно, да это, наверное, другая дорога. Нет, дорога та же самая и те же самые картины, измененные, быть может, лишь следующим временем года, но путешественник уже не тот. Он уже побывал в Сибири, он многое повидал, поразившее его воображение, сибирские впечатления и в нем самом открыли какие-то новые и славные просторы, о которых он прежде не подозревал.

Сибирь имеет свойство не поражать, не удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчетливостью, но, втянув, связывать накрепко. И все — человек заболевает Сибирью. После сибирской язвы, теперь, кажется, не существующей, это самая известная болезнь: всюду после этого края и долго человеку тесно, грустно и скорбно, всюду он истягивается мучительной и неопределенной недостаточностью самого себя, точно часть себя он навсегда оставил в Сибири.

В нашей природе все мощно и вольно, все отстоит от себе подобного в других местах. В Западной Сибири равнина — так это равнина, самая большая и самая ровная на планете, болота — так болота, которым и с самолета нст, кажется, ни конца и ни края. Восточносибирская тайга — это целый материк, терпящий, к слову сказать, и самые страшные бедствия в своей жизни от вырубок и пожаров. Реки — Обь, Енисей, Лена — могут соперничать лишь между собой. В озере Байкал пятая часть пресной воды на земном шаре. Нет, все здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал всевышний

сотворение Земли и повел его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкрапывать и мельчить.

Но это о размерах, об объемах, а что сказать о сибирской красоте? И разве возможно, к примеру, выразить словом хоть приблизительно что-нибудь, достойное его, о Байкале? Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью. Если бы не могучие, под стать ему, Саяны рядом, не Лена, берущая неподалеку свое начало, не Ангара, несущая байкальскую воду к Енисею, можно было бы решить, стоя на берегу этого чудо-озера и глядя на его ближние контуры и воду, на его краски и озаренность сверху, от которых даже и не тает, а обмирает в глубоком обмороке душа,— можно было бы решить, что Байкал случайно обронен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии. С тем же чувством смотришь на Телецкое озеро на Алтае. Эталон красоты европейской — Швейцарию — к горному Алтаю подставляют особенно часто, природа здесь не просто живет, а царствует безбрежно и всевластно и, словно устыдившись своих высот — высот не над уровнем моря, а над уровнем человеческого восприятия, начинает от великодушия спускаться вниз, с державной легкостью снос свои богатства, чтобы, как зримые божественные звуки, прозвучали они зазывно и ободряюще. Не случайно именно здесь, на Алтае, два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную, как рай земной, где они могут зажить в полном счастье. Искали и, по их представлениям, находили, приводили сюда из Европейской России, с Урала и из Сибири равнинной своих земляков, начинали строиться и пахать — было же, значит, в этих местах что-то особенное, не рядовое, что заставляло смотреть на них с благословенной надеждой. И все здесь могло быть как в раю — да подводил человек, добравшийся со своими привычками, законами и установлениями в любую глухомань.

Сибирской Швейцарией называют и Минусинский район на южной границе Западной и Восточной Сибири в Красноярском крае. Если есть в Швейцарии или где-то в теплой Европе невесть как попавший туда уголок Сибири, тогда объяснимо: их перепутали, и то, что предназначалось Европе, очутилось здесь по счастливой случайности. Везде вокруг Сибирь как Сибирь, а в минусинской котловине на удивление созревают арбузы, дыни; помидоры вырастают настолько крупными, что с ними едва ли могут соперничать и южные плоды.

Впрочем, у нас немало таких вкраплений несибирского, казалось бы, характера. На Байкале есть уголок по реке Снежной, где рядом с лиственницей и кедром соседствуют неохватные реликтовые тополя и голубые ели. О Байкале лучше не заводить разговора. Здесь слишком много всего, от простейших растений до крупных животных, существует в единственном, нигде более не повторяющемся виде, а если и пов-

торяющемся — в этом краю по природным законам быть не должно. Откуда, как — непонятно. Ученые, продолжая открывать их, продолжают и недоумевать. Не все знают, что в некоторых благодатных байкальских местах солнечных дней в году больше, чем на южных курортах (недавно я прочитал в одном солидном издании, что Иркутск по количеству получаемого солнца после Давоса занимает второе место в мире), а вода, в самом Байкале постоянно холодная, ледяная даже и летом, в заливах нагревается выше двадцати градусов. И как не предположить тут, что все эти объяснимо и необъяснимо удачные исключения для того и подставлены, с той заведомой целью и созданы, чтобы подсказать человеку, что ему делать, в какую сторону преобразовывать Сибирь, если она покажется скупой и неуютной.

Как и все в Сибири — как человек, земля, климат, — сибирская природа не может быть всюду на одно лицо. Представьте только расстояния, о которых пришлось бы говорить, чтобы выразить их общим понятием. И лишь зимой все в ней из конца в конец оцепеневает в одной тяжелой неподступной думе. Оголенно и стыло лежат белые равнины, успокоенно, как оставленные пограничные преграды, выступают из снегов и склоняются под снегами горы, дремлет в набрякшем морозном узоре тайга, закрываются льдом озера и реки. Все обращено внутрь себя, все заморожено одной исполинской охранной силой. В эту пору хорошо понимаешь, откуда в прошлом могли возникнуть легенды не только о засыпающих на зиму людях, но и о замерзающих в воздухе, не долетевших до слуха слова, которые с весенним теплом способны оттаивать и звучать сами по себе, вдали от сказавшего их человека.

В Сибири легко поддаться такому настроению.

Весна у нас — это еще не весна, как ее принято всюду понимать, а добрых два месяца только раскачивание зимы: тепло-мороз, тепло-мороз, пока не свернет наконец на устойчивое тепло. И тогда торопится оттаять и расцвести, распусться и зазеленеть все вокруг наперегонки. В северных широтах это похоже на выстреливание лета: еще вчера было разорно и голо, еще только приготавливалось к перемене, а сегодня уж завыглядывало отовсюду дружной всхожестью, завтра — загорится полным летним заревом. И запыхает красотой яркой и отчаянной, не способной на оглядку: как медлительна зима, так торопливо лето. Только-только начало августа; а уж оно на свороте и заходит в него по-свойски, как домой к себе, осень. С тем и живет лето: с одной стороны поджигает холодная весна, с другой — осень.

Зато осени стоят долгие и тихие. Конечно, год на год не приходится и бывает по-всякому, бывает, что и этой поре не удастся задержаться, но чаще всего, рано наступив, она поздно и отступает, давая возможность всему живому в природе, отстрадавав, отдохнуть и понежиться под солнцем. И не редкость: обманутые неурочным теплом, во второй раз за сезон набухают почки и расцветает по склонам гор багульник, любимый сибиряками кустарник, по виду неказистый, корявый, не так радостно, так самозаб-

венно цветущий фиолетовым или розовым роспуском. И подолгу горят-догорают леса, пламенея широким разбросом осенних красок, здесь особенно чистых и сияющих, высоко и радужно наполняющих собой воздух.

«Горят», «полыхают», «заревом», «пламя» — это не из страсти к пожарной лексике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской природе не свойственна лднивая и сытая красота южных мест, ей приходится, повторюсь, торопиться, чтобы успеть расцвести и отцвести, принести плоды, и делает она это с выверенной стремительностью и скоротечным, но ярким торжеством. Есть у нас цветы, которые за Уралом не растут, они так и называются: жарки, огоньки. В июле, когда они распускаются, сочным, праздничным заревом озаряются таежные поляны, и ничем нельзя поколебать впечатления, будто от них ощутимо доносят теплом.

Итак, стремительность в одно время года и медлительность — в другое, с неровными и непрочными в своих границах переходами — это и есть Сибирь. Порывистость и оцепенелость, откровенность и затаенность, яркость и сдержанность, щедрость и сокровище — уже в понятиях, имеющих отношение не только к природе, — это и есть Сибирь. И, размышляя об этих двух едва ли не противоположных началах, вспоминая, как велика, разнообразна и не проста Сибирь, с той же порывистостью кидаешься вслед беспокойному зову и с той же сдержанностью приостанавливаешься: Сибирь!..

Слишком многое сходится нынче в этом слове,

И так хочется из этого огромного и сложного клубка связанных с Сибирью противоречивых надежд и устремлений, так хочется добыть из него, как волшебное жемчужное зерно, одну простую и очевидную уверенность: и через сто, и через двести лет человек, подойдя к Байкалу, замрет от его первозданной красоты и чистых глубин; и через сто, и через двести лет Сибирь останется Сибирью — краем обжитым, благоустроенным и заповедным, а не развороченным лунным пейзажем с остатками закаменевших деревьев.

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его Родины. Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиною неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен, возьмется наконец не на словах, а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле.

Это и будет исполнением Сибири. Таким и должен быть сибиряк, житель молодого и славного края, — края, имеющего право на свое будущее.

О ПРОЗЕ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Литература во все времена отражала общее духовно-нравственное состояние народа, общества, эпохи. Настоящая литература, конечно. Валентин же Распутин безусловно — один из тех крупнейших писателей, чье творчество сегодня отражает и определяет современное состояние нашей отечественной литературы.

Еще лет десять назад чуть не каждый свежий номер центральных, а порою и областных журналов радовал читателей крепкой, а то и прямо незаурядной прозой. Ныне не то. Настоящая проза — явление не столь уж частое, тем более радующее новыми именами, открытиями, обобщениями художественной мысли.

Правда, если обратиться к опыту русской литературы, то можно бы вспомнить и нечто отрезвляющее. Так, в одной из статей «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский поделился с читателями таким, по его словам, «забавным наблюдением»: «Все наши критики (а я слежу за литературой, — писал он, — чуть не сорок лет)... чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе... то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «в наше время, когда русская литература в таком застое», «в наше литературное безвременье», «странствуя в пустынях русской словесности», и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков». Если при этом учесть, что Достоевский не назвал еще ни Лескова, ни Льва Толстого, ни, естественно, себя, то мысль о пустынях представится уже не столько даже забавной, сколько прямо кощунственной, хотя исходила она, как правило, отнюдь не от врагов или недоброжелателей нашей отечественной словесности, а от нашего собственного неумения да и нежелания видеть и оценивать свое объективно, что, конечно, тут же использовалось недоброжелателями, делавшими далеко идущие выводы о творческой неспособности русского народа в целом.

И, хотя это действительно факт, и факт неоспоримый: писателей масштаба и уровня Толстого и Достоевского ни в современной отечественной, ни в мировой литературе нет, а об Островских давно уже что-то и слыхом, как говорится, не слыхано, а потому и нет особых поводов для излишне восторженных оценок нынешнего состояния литературы, тем не менее нет серьезных причин и предаваться унынию. Нет, потому что вчера еще мы были современниками Шолохова, творца величайшего художественного создания XX века — эпопеи «Тихий Дон». И сегодня среди нас живет немало серьезных писателей, в числе которых, говоря словами Достоевского, «человек десять, по крайней мере преталантливых», появившихся почти одновременно и в столь короткий срок — и не в сорок даже, а в каких-нибудь двадцать лет. Да, повторю, нет среди них ни Толстых, ни Достоевских — по глубине и масштабности творческого мышления, но — и это чрезвычайно важно — есть уже таланты классической природы, то есть — природы того «самобытного нравственного отношения» (Л. Толстой) к своему художественному слову, как к слову самосознания всего нашего общества, как слова самой нашей эпохи, увиденной «глазами всего народа» (Гоголь), которая рождала могучие всходы в недавнем прошлом. А коли так, то и есть, стало быть, надежные основания веры в могучее будущее нашей литературы. Будущее, вызревающее уже в недрах сегодняшнего ее состояния и, как знать, может быть, именно в том самом сегодняшнем временном затишье, которое мы иной раз готовы принять за кризисное состояние и которое может оказаться в действительности лишь той минутой сосредоточенного молчания, которое мы соблюдаем каждый раз, присев перед дальней и тем более нелегкой дорогой. О том, на мой взгляд, свидетельствуют и некоторые процессы творчества Валентина Распутина.

Широкую известность Валентину Распутину принесла его повесть «Деньги для Марии» (1967), хотя и до того он уже выпустил сборник рассказов, и рассказов крепких. Появившаяся через три года повесть «Последний срок» утвердила имя писателя в ряду наиболее значимых, пришедших со своим словом.

Последовавшие затем «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976) не оставили, кажется, уже ни у кого сомнений в том, что перед нами подлинно большое, я бы сказал — могучее явление современной отечественной и мировой литературы.

— Вот именно, — порой да и услышишь сегодня из уст иногда даже и искренних почитателей его таланта, — в эти-то десять лет и вместился и сказался весь Распутин, во всяком случае, в главном, а потом — вот уж почти восемь лет, по существу, ничего нового, равноценного созданному прежде... Так что явное притормаживание творческого движения писателя, как говорится, налицо. А ведь Распутин — один из ведущих наших писателей, один из тех, по которому мы вправе судить и об общем состоянии дел в литературе...

— Так-то оно так, по видимости, да только не совсем так, а скорее даже и вовсе не так...

В свое время между «Последним сроком» и следовавшей затем повестью «Живи и помни» тоже наблюдалось затишье, растянувшееся тогда без малого на пять лет — тоже срок не малый. И тогда, помнится, высказывались авторитетные мнения: все, что мог, дескать, сказал... Правда, и в тот период временного затишья Распутин написал несколько рассказов. Тогда же вышло его повествование «Вниз и вверх по течению». Но именно это произведение, кажется, еще более усугубило впечатление пробуксовки (в том числе, должен признаться, и у автора этих заметок о творчестве Валентина Распутина) и даже чуть ли не творческого кризиса, если уж не вовсе «падения таланта». Но уже повесть «Живи и помни», устыдив скептиков, поставила все на свои места, а повествование «Вниз и вверх по течению» просто забылось, как забывается нечто обыденное под напором свежих, незаурядных впечатлений.

Справедливости ради скажу, что и сегодня остаюсь при мнении, что по концентрированности художественной мысли «Вниз и вверх по течению» не может все-таки соперничать с четырьмя названными повестями. Но что ж из того? Повествование это интересно и само по себе, вне сравнений с другими произведениями писателя. Интересно и значимо точными, емкими картинками жизни, остротой писательских наблюдений, обнаженностью почти исповедальных размышлений автора, кажется, даже и не пытающегося здесь спрятаться для формы за спину своего героя. И это повествование несет в себе общую мироотношенческую характерность Распутина, более всего роднящую его, на мой взгляд, с художественным миром Достоевского и Тютчева, как никто другой, пожалуй, остро чувствующих такие мгновения, которые «стоят всей жизни» («мгновения, когда полнится душа», как сказано у Распутина), когда вся жизнь, история, кажется, даже и вся Вселенная готовы раскрыться нам в самом своем сокровенном, в законах своего вечного созидającego начала.

Наконец, в повествовании «Вниз и вверх по течению» впервые у Распутина, во всяком случае, с такой собранностью и определенностью появляется центральный, как мне представляется, образ болевого нервного узла всего его творчества — образ **смещенного центра** (обозначим его пока так, за невозможностью или неумением найти более точное определение). Приехав после пятилетнего отсутствия в родные края, Виктор при виде резко переменившихся, памятных с детства, просторов не то что не узнает свою малую родину, но и прямо ощущает ее уже как бы другой и даже чужой землей, которая лишь «в редкие сокровенные минуты» напоминала ему «ту, на которой он рос... Лишившись чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино», родные места словно «разбрелись куда-то»...

Конечно, в этом повествовании образ смещенного центра — это прежде всего вполне реальный, житейский, я бы сказал даже — бытовой, но — он уже и здесь через психологию героя прямо связан и с общественной стороной проблемы человеческой памяти, в том числе и памяти исторической, памяти родной земли, проявляющей себя в патриотическом чувстве родного, слиянности личности и Родины. В этом образе уже вызревало предчувствие какой-то грандиозной обобщающей нравственной мысли общественно-исторической значимости.

Нет, перечитывая теперь это повествование, ясно сознаешь, что отнести его к разряду неудачных, свидетельствовавших о затухании, пусть бы и временном, творческой энергии писателя — не представляется возможным.

Но еще большую значимость обретает повествование и в частности его центральный образ в перспективе творчества Распутина — как предчувствие и прообраз гражданской мысли художника, мысли высокого напряжения, мысли тревожной и совестливой, мысли о родной земле, эпохе, мире, в их современном и прежде всего духовно-нравственном содержании и состоянии. Мысли, воплощенной в художественном обобщении повести «Прощание с Матёрой». Мысли, для созревания которой потребовалось тогда четыре года «творческой тишины». Как хотите, а это урок. Урок, который заставляет и сейчас отнестись с пониманием к новому периоду относительного покоя в писательской судьбе Распутина да, может, и всей нашей литературы в целом.

Действительно, попробуем взглянуть на произведения этого периода, включенные в настоящий сборник, в перспективе возможного развития художественной мысли. Такой взгляд, понятно, совершенно не отрицает и ценности этих произведений самих по себе, но — подлинно значимые рассказы в истории русской литературы, кроме обнаженно живого, нравственного нерва, всегда пробуждающего мысли и совесть читателя, обладали еще и таким свойством, как способность к расширению, развитию, развертыванию: так, в незавершенных «Египетских ночах» Пушкина таилось как в зерне предчувствие грандиозных романов

трагедий Достоевского, а в незавершенном даже отрывке — «Гости съезжались на дачу» — Льву Толстому открылось вдруг зерно его «Анны Карениной».

По степени сосредоточенности художественной мысли рассказы Пушкина, Гоголя, Достоевского, многие рассказы Чехова — это своего рода романы, сжатые до емкости новеллы.

Распутин безусловно принадлежит к писателям, кто в силах угадывать в обыденных, кажется, фактах реальной действительности шекспировскую глубину. А потому и стоит читателям Распутина задуматься над произведениями этого сборника, понять, что тревожит чуткую совесть писателя, умеющего видеть подспудные процессы, улавливать в фактах явления и тенденции в их возможном развитии. Какие плоды обобщающей мысли вправе мы ожидать от художника в будущем? Плоды, вызревающие уже сейчас, быть может, именно в подспуде этих вот рассказов периода его творческого затишья. Да и действительно ли затишья?

«Из подростков создаются поколения» — эта мысль-вывод, венчающая роман Достоевского «Поросток» — убежден, — могла бы стать эпиграфом рассказа «Век живи — век люби», — всего лишь об одном дне из жизни подростка Сани, дне обычном, но и чрезвычайном: «В такой день на земле или на небе происходит что-то особенное». Что-то особенное происходит, конечно, прежде всего в самой душе пятнадцатилетнего парня: впечатления этого сияющего полнотой красоты и величия дня, казалось бы, на всю жизнь могли стать несмещаемым центром нравственного угла зрения на мир в его сокровенной сути, явленной вдруг открывшейся навстречу этому миру душе подростка. Но тот же день одарил его не менее сильным уроком, открылся ему и возможностями и иной бездны — уроком цинизма, бездны мудрствующей пошлости. Не случайно писатель оставляет своего героя в состоянии растерянности и тревоги: это и его авторская тревога за будущее поколение, за те нравственные «университеты», которые нередко преподают молодежи взрослые люди, негодующие при этом — откуда берется в подростках цинизм, неверие, инфантильность. От нас же с вами, — отвечает нам всем писатель.

Способен ли современный писатель остро и нелицеприятно поставить сегодня вопрос о состоянии нравственного мира подростка наших дней? Проанализировать — глубоко художественно и пропорционально будущему, как это умели наши классики, все нынешние «pro» и «contra» воспитания первых сознательных шагов в жизни будущих граждан страны, создателей чести и славы Отечества завтрашнего дня? Можно ли видеть в рассказе Распутина возможность и необходимость развертывания его художественной мысли в будущее, серьезное обобщение в форме романа или повести о современном подростке? Мне кажется — вполне. Хотя это, конечно, и не значит, что — наверное.

Рассказ «Не могу-у...» даже и по сравнению с «Век живи — век люби» представляется скорее «дорожной зарисовкой», рассказом о случае из жизни и не более того. Но ведь пьяный теряет не только свое человеческое лицо, но и национальное, и гражданское. У пьяного нет Родины, ибо нет ответственности за ее настоящее и будущее. «Водка скотинит человека», — утверждал Достоевский.

Что стоит за этим раздирающим, позорящим душу криком: «Не могу-у-у!» — в рассказе Распутина? «Никакой бы вражина не смог бы сделать то, что сам сделал с собой» герой дорожного случая... Останется ли такое понимание лишь сознанием писателя или в «не могу!» героя можно уловить предчувствие протрезвления самосознания и самого героя? Будущее покажет. Сейчас же, во всяком случае, явно одно — художник не равнодушен к серьезнейшим общественным проблемам. А неравнодушные большого художника всегда способны разразиться и большим творческим взрывом.

Ныне все еще существует в нашей литературе заметный водораздел между так называемой «деревенской» (к которой, кстати, а скорее — некстати относят и Распутина) и тоже так называемой — городской. Мне кажется, «Иркутск с нами» по самой постановке вопроса о культуре исторической памяти города («Иркутску есть что помнить», — пишет Распутин), вопрос о городе, как «малой родине», как нравственном, духовно наполненном понятии (вспомним пушкинское хотя бы: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!») — чрезвычайно показателен в перспективе движения писательской мысли Распутина. Найдет ли эта назревшая и столь общественно актуальная мысль писателя дальнейшее развитие в художественных обобщениях? Как и многосторонняя «Сибирь без романтики», лично меня потрясшая возможностями развертывания в грандиозную «Сибириаду», своего рода историко-философскую эпопею в прозе о прошлых и будущих судьбах Сибири — этого зеленого, кислородного материка Родины и всей планеты, этого уже не прощания с Матерой, но я бы сказал пророчества о возможности и необходимости устройства новой Матёры, достойной нашего общества, нашего народа.

Не собираюсь утверждать, что «малая проза» Распутина в скором будущем непременно выльется в романы или повести, намеченные нами, но — ясно одно: период относительного покоя в творчестве писателя скорее уж нужно определить как период созревания нового, рождающегося в творческой углубленности мысли, не торопящейся упасть в руки заждавшихся читателей незрелыми плодами, но уже и теперь вполне обнаруживающей свои будущие качества.

Будем ждать и верить.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

ОБ АВТОРЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ

Критик, литературовед, кандидат филологических наук Юрий Иванович Селезнев (1939—1984) окончил Краснодарский педагогический институт и аспирантуру при Литературном институте имени А. М. Горького. Им написаны книги: «Вечное движение» (1976), «Созидающая память» (1978), «В мире Достоевского» (1980), «Достоевский» (в серии «ЖЗЛ», 1981), «Мысль чувствующая и живая» (1982), «Василий Белов» (1983), а также многие статьи, в которых автор размышлял о месте и роли русской художественной классики в нашей жизни, о лучших достижениях современной советской литературы.

Творчество Юрия Селезнева было отмечено премией Ленинского комсомола.

СОДЕРЖАНИЕ

Век живи — век люби	1
Что передать вороне?	14
Рудольфио	21
Вниз и вверх по течению	26
Наташа	48
Не могу-у...	51

СИБИРСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

Иркутск с нами	55
Байкал, Байкал...	61
Сибирь без романтики	64

<u>Юрий Селезнев.</u> О прозе Валентина Распутина последних лет	77
<u>Об авторе послесловия</u>	80

**Валентин Григорьевич
Распутин**

ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор *А. Максимов*. Технический редактор *Л. Изгаршева*.
Корректоры *Л. Овчинникова* и *Т. Филиппова*

© Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 06.06.84. Подписано в печать 24.07.84. А 13902. Формат 84×108^{1/16}. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,24. Уч.-изд. л. 11,42. Тираж 2 000 000 экз. (2-й завод 500 001 — 2 000 000 экз.). Заказ 1462. Цена 1 р.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Чехов Московской обл. Зак. 1587

Началась подписка на «Роман-газету». В 1985 году в нашем журнале будут опубликованы наиболее значительные произведения прозы последних лет. Расширяется тематика. Предполагается печатать повести на историческую тематику, а также произведения детективного жанра. Об этом высказывали пожелания в своих письмах многие читатели.

В первых номерах 1985 года будут опубликованы романы А. Чаковского «Неоконченный портрет» (книга вторая), И. Стаднюк «Москва, 41-й», В. Карпова «Полководец», В. Чивилихина «Память» (книга первая), А. Ананьева «Годы без войны» (книга четвертая), повесть В. Быкова «Знак беды» и другие.

Подписка на «Роман-газету» принимается без ограничений.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУЧОВ (заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Фелкис КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Александр ОЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ



В восемнадцатом номере

«роман-газеты»

читайте роман

МИХАИЛА ГОДЕНКО

«ПОТАЕННОЕ СУДНО»

Новый роман Михаила Годенко «Потаенное судно» повествует о советских моряках атомного подводного флота. В начале романа рассказывается о жизни приазовской деревни в послевоенные годы, вторая его половина посвящена учебе и дальним походам атомных подводных лодок, трудностям и опасностям, которые приходится преодолевать морякам-североморцам.